Жизнь замечательных людей

А. ВИНОГРАДОВ

Байрон

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Биографический роман о жизни английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона. Сложная судьба поэта, ощущение катастрофичности и в мире, и в самом человеке, разочарование в действительности отразились в его творчестве. Он создал тип «байронического» рефлексирующего героя: разочарованный мятежный индивидуалист, одинокий, не понятый людьми страдалец, бросающий вызов всему миропорядку и Богу. Творчество Байрона — важный этап в духовном развитии европейского общества и литературы, в том числе и в русской.

- А. Виноградов
  -
  - Первая ссора с миром
  - Чайльд Гарольд в Лондоне
  - В борьбе с действительностью
  - Поиски примирения. Женитьба
  - Вторая ссора с миром. Разрыв с Англией
  - Швейцария. На идейных высотах. Новые друзья и старые враги
  - Миланские встречи. Итальянские карбонарии. Венецианские поэмы
  - Байрон-драматург
  - Большая любовь. Байрон-карбонарий
  - Возвышенная ненависть
  - «Дон Жуан»
  - Гибель бунтующего идеализма
  - ПРИМЕЧАНИЯ
  - БИБЛИОГРАФИЯ
  - Иллюстрации

А. Виноградов
БАЙРОН

Первая ссора с миром

Пусть читатель перенесется воображением в Англию к зимним дням 1811 года и представит себе дорогу, покрытую снегом, а на ней большую карету, запряженную шестеркой почтовых лошадей, пусть он представит себе пассажира, бледного, с большими черными глазами, в зимнем плаще с пелериной, с меховой муфтой в зябнущих руках. Так читатель познакомится с человеком, о котором написана эта книга. Таким описывают Байрона люди, встречавшие его в этот день. Молодой лорд, вместо того чтобы ехать в собственном экипаже, едет с пассажирами в обыкновенном почтовом дилижансе. Ему двадцать три года. Он только что вернулся из путешествия по Востоку. Он ничем не знаменит. Одинок. Умерла мать, сломленная бременем непосильных долгов. Умер дальний родственник. От него молодой Байрон унаследовал полновесный баронский титул, легковесное наследство и развалины векового замка с холодным камином, протекающими потолками, столетним парком и ручным медведем.

Еще не успел молодой лорд войти во владение Ньюстедским аббатством, еще не успел запечатлеть громкими и звучными строфами новой поэмы свои впечатления от Европы, охваченной пожарами войн и революций, как ему пришлось выполнить первую обязанность лорда, вошедшего новичком в верхнюю законодательную палату, — выступить с первой, так называемой «девственной», парламентской речью. Среди многих вопросов, занимавших любого английского политика тогдашнего времени, молодому лорду легко можно было растеряться, если, конечно, он не безразлично относился к своему выступлению.

Но Англия того времени жила особенно напряженной политической жизнью. Потрясающие события Великой французской революции нашли себе отклики в английской общественности. Специфические английские экономические затруднения, связанные с наполеоновской блокадой и кризисом английского сбыта, приняли особо острый характер в связи с

общеевропейским кризисом 1811 года. Помимо рабочих волнений в больших фабричных городах Англии, началось брожение умов и в средних классах английских городов. В самом Лондоне было раскрыто «Общество друзей конвента». Молодые аристократы из числа тех, кто не довольствовался спортом и домашними делами, охотно входили в такие организации, как «Гемпден-клубы», как бы присоединяясь к протесту старинного Гемпдена, который осмелился из принципиальных соображений отказать королю в платеже корабельного налога, установленного без согласия парламента. Однако чем шире развертывались военно-революционные события в Европе, тем реакционнее становилась Англия. Превратившись в центральный штаб европейских об'единений против Бонапарта, ловко пользуясь чужими военными услугами, островная держава удерживала колоссальное владычество на морях и с особой бдительностью препятствовала проникновению новых мыслей и революционных идей в «милую старую Англию».

Байрон, три года не бывавший в Англии, перед поездкой на Восток успевший прочитать Вольтера, Руссо — энциклопедистов Франции, был уже человеком новой формации. Простое соприкосновение с военными событиями на территории Испании и Португалии, где английские войска под видом защиты пиренейской независимости соревновались с французскими в грабежах и угнетении испанских и португальских сел и городов, — уже это одно скептически настроило молодого Байрона по отношению к английскому оружию вообще. Вот почему мы не увидим Байрона патриотически настроенным, равнодушным лордом, выбирающим для первой парламентской речи безразличный об'ект. Наоборот, его выбор показывает и беспокойный ум и остроту взора, редко свойственные представителям аристократической молодежи Англии, в которых воспитанное чванство и в'евшийся в кровь консерватизм тормозят всякое живое движение мысли. Байрон из всех вопросов, подлежащих обсуждению в палате лордов, выбрал вопрос о шестнадцатом, самом ярком, восстании ноттингемских ткачей.

Для того, чтобы выступить, Байрон считал необходимым обладать исчерпывающими материалами об этом восстании. Но перед ним оказались только официальные сообщения, суммирующие впечатление от побега полиции, от вызова войск, от выстрелов, виселиц и казней. Лорды Райдер и Эльдон полагали этот материал вполне достаточным для того, чтобы внести законопроект (билль) о применении смертной казни в качестве кары рабочим, выступающим против хозяев и ломающим ткацкие станки. Байрон этот материал полагал совершенно

недостаточным, ибо он решил защищать право ткачей на труд и жизнь.

Такова была причина, заставившая молодого лорда выехать по зимней дороге из Лондона в Ноттингем.

Этой поездке предшествовала, правда, еще одна поездка, в Ньюстед, после которой Байрон очень насторожился.

По старым узаконенным обычаям парламента, всякий лорд, появляющийся в палате впервые, должен быть представлен одним или двумя старшими лордами, как новичок. Но такого лорда, который пожелал бы представить Байрона в палате, не нашлось. Байрон пришел один и умышленно с опозданием, прихрамывая, поднялся по лестнице и проследовал мимо негодующего спикера. В полутьме огромного зала раздавалась речь министра Персиваля. Байрон не сразу оглядел круги сидящих старых британских сановников. Красивый юноша спокойным взором обвел сотни Лиц и не спеша занял крайнюю левую скамью третьего ряда. Этот выбор встретили саркастическими улыбками: бедный лорд занял место на скамьях оппозиции. Вот он уже встал и, взглянув на карманные часы, решил, что двух минут вполне достаточно для первого визита в палату лордов. Потом из всей массы предложенных биллей он выбрал для своей вступительной речи билль о казни ткачей, и ушел. И вдруг, как бы вне всякой связи с этим выбором, Байрон внезапно получил предложение представить, в силу происходящей проверки полномочий, сведения о законности брака своего деда. Таким образом могло сорваться не только намеченное выступление по делу о ткачах, но был поставлен под угрозу самый вопрос о титуле Байрона, а следовательно и о том, может ли он вообще принимать участие в законодательстве страны. Работа по розыску необходимых документов стоила дорого и требовала времени. Денежные дела были плохи. Байрон поехал сам рыться в семейном архиве.

Пусть читатель вместе с Байроном ознакомится с этой грудой документов из ранней биографии «бедного лорда»…

Вот он обнаружил переписку матери, предшествующую разрыву с отцом. Там мать упрекала его отца, Джона Байрона, не только за себя, но и за леди Коньерс, первую жену Джона Байрона, которой «жилось не сладко» по тем же причинам, по каким плохо живется и ей, с тех пор как она из мисс Екатерины Гордон превратилась в леди Байрон — жену «самого беспутного из англичан, закруживших свою пьяную голову среди парижских вертопрахов».

Вот документ о рождении Августы Байрон 26 января 1784 года. И тут же письмо первой жены Джона Байрона, рожденной

Коньерс, с упреками по адресу отца, даже не взглянувшего на новорожденную дочь. А вот письмо, переданное с оказией из французского города Валансьена, от Джона Байрона. Он пишет, что ему известно о рождении 22 января 1788 года сына Джорджа Гордона Байрона, он поздравляет свою супругу с этим событием; но повидимому он не знает, что она живет в доме номер шестнадцать, на Холл-Стрит, неподалеку около Оксфорд-Стрит, и сообщает неверный адрес, по которому ее будет искать человек, отвозящий письмо. Джон Байрон жалуется, что совершенно разорен, что в Париже невозможно жить: «разрушена Бастилия, бунтует чернь, завладевшая властью». Политика и кредиторы выгнали Джона Байрона из Парижа. Джон Байрон просит денег. Но, увы, бедствия обрушились на госпожу Байрон; она тоже подсчитывает последние медные монеты, но она «не тратит их в игорных домах, и притонах Парижа с промотавшимися французскими аристократами».

Джордж Гордон Байрон, откидывая пачки писем, вспоминает, что мать с ненавистью говорила о французском дворе, о нравах парижских дворян. Она оправдывала казнь Людовика XVI и со странным увлечением говорила о «вождях народа».

Следующие кипы писем: вот исполнительные листы, вот опись имущества. Мисс Екатерина Гордон оф-Гайт, считавшая себя праправнучкой Анны Изабеллы Стюарт, дочери Иакова I, короля шотландского, стала нищей.

Ее муж в 1791 году, скрываясь от долгов на чердаке у валансьенского булочника, умер. Лучше не возбуждать вопроса о наследстве, но надо воспитывать сына. На берегу Северного моря, там, где часто туман заволакивает горизонт и волны ударяют в меловой берег, в маленьком Абердине, госпожа Байрон поселилась с сыном.

Отец поэта умер тридцати шести лет, когда госпоже Байрон исполнилось двадцать шесть лет. Невзгоды и семейная жизнь и нездоровая наследственность сделали госпожу Байрон крайне раздражительной, а в порыве гнева доходящей до исступления. Нечто похожее на утробный паралич поразило сына, когда она бежала из Парижа в Лондон. Мальчик появился на свет хромой. Он прихрамывал всю жизнь той незаметной хромотой, которая суб'ективно переживается гораздо сильнее, нежели бросается в глаза постороннему наблюдателю. Мать деятельно стремится воспитать сына, но слишком многие обстоятельства колеблют ее семейный авторитет. По каждому поводу госпожа Байрон поднимает крик, сбегаются соседи, но это не прекращает воплей. Все более и более повышая голос, госпожа Байрон называет сына «выродком». Не стесняясь присутствием посторонних, она то и

дело кричит, что леди Коньерс была «разводкой», что она бессовестно обманывала мужа. Родственники отказываются платить долги Джона Байрона, который «прокутил состояния двух жен и угрожает спокойствию всех родных». Дядя отца, лорд Вильям Байрон, не желает знать ни второй жены своего племянника, ни ее сына.

Все письма говорят о нищете. И ни намека на законность венчания деда его, «капитана бурь». Байрон слышал неоднократно, что Foulweather Jak был «беспорядочным человеком на суше и на море», может «действительно он не венчался с мисс Треварион», и тогда прощай политическая карьера поэта и лорда. Но если нет никакого намека в переписке отца, то, быть может, есть какие-нибудь указания в архиве дяди отца — Вильяма Байрона? Вот большие пергаменты, вот голубые кожаные портфели, но и в них ничего нет. Нечаянно попавшееся письмо из Франции, в котором отец дает едкий отзыв о характере матери: «она мила, но ни апостолы, ни ангелы не прожили бы с ней и двух месяцев, только я один мог выдержать это испытание». А вот перехваченное матерью письмо, в котором сын в письме к Августе упрекает мать за «неудержимую склонность к скандалам» и за то, что она не довольствуется в гневе словом «хромуша», но перечисляет все «преступления Байронов, совершенные от Вильгельма Завоевателя до наших дней». Портфели лорда Вильяма Байрона не содержат документов о дедовском венчании, но зато действительно похожи на скандальную хронику. Вот судебные папки лорда Вильяма Байрона. Нелюдимый и мрачный старик, однажды потеряв рассудок от неимоверного количества алкоголя, поссорился со своим родственником Чавортом и вынудил его принять такие условия дуэли, которые были похожи на убийство. Чаворт умер от раны. И только звание пэра Англии спасло лорда Вильяма. Он избег тюрьмы, но был исключен из палаты лордов и на всю жизнь удален в Ньюстед. Он ведет в родовом замке пьяный образ жизни. Он обижает окрестных жителей и слышать не хочет о маленьком Байроне. «Злой лорд», — эта кличка недаром бросалась вдогонку лорду Вильяму.

Перелистывая страницу за страницей, лист за листом и документ за документом, Байрон вспоминал себя в девятилетнем возрасте, когда красивая Мери Дефф с насмешкой принимала поклонение влюбленного «хромого мальчика», испытавшего и первое страдание сердца и повторное страдание оскорбленного самолюбия. Нянька Майа Грей долго не могла понять, чем обеспокоен ее девятилетний питомец, который сменил бурные порывы детской шалости на печальные уединенные прогулки по морскому берегу.

Каждая папка писем — годы детских воспоминаний. Каждый документ — свидетельство о бурной заносчивости и мрачной величавости характера предков. Моряки старинных фамилий, капитаны пехоты, полковники кавалерии, нормандские артиллеристы, кутилы, проглотившие в жизни неимоверное количество бочек можжевеловой водки, — все это выходцы из старинной Нормандии. Недаром отец поэта, «шалый Джек», так сдружился с нормандским выходцем, командовавшим французской гвардией, маршалом Бироном, у которого в силу дальнего родства бросил якорь «корабль шалого Джека». Байрон ни разу в жизни не видел своего отца.

А вот письма сестры Августы, которая рассказывает о возникновении дружбы с дальним родственником, сэром Лей. Мать была в ссоре с первой тещей своего супруга, августа жила у бабушки, леди Хольдернесс. Бабушка не желала знать госпожу Байрон, и только в четырнадцатилетнее возрасте, в 1802 году, школьник Байрон, увидел свою сводную сестру, когда леди Хольдернесс уже лежала на кладбище.

А вот документы, сообщающие о том, что при осаде Кальви в 1798 году сын «пятого лорда», Вильяма Байрона, убит, и вследствие этого шестой титул лорда Байрона неожиданно переходит Джорджу Гордону Байрону, школьнику из Абердина. С замиранием сердца красивый хромой школьник услышал впервые на классной перекличке, как надзиратель выкликнул его имя с прибавлением титула, и товарищи, неожиданно услышав об этой перемене, стали вытягивать шеи, чтобы поглазеть на нового лорда.

Байрон перелистал еще несколько папок, размышляя о том, что «это неожиданное титулование» все-таки совершилось, но странно, что у лорда Вильяма после убийства Чаворта не спрашивали документов о законном браке прадедов для удостоверения права на ношение титула, А ему — стоило только заняться для выступления в верхней палате вопросом о восстании ткачей, как немедленно последовал запрос о законности ношения титула и о праве заседать в палате лордов. Титул лорда, шестого барона из рода Байронов, ставшего пэром Англии, Джордж Гордон Байрон носит уже четырнадцать лет. И за все эти годы никто не оспаривал этого титула, пока в несчастном Ноттингемшире по деревням и лесным дорогам не появились трупы людей, умерших от голода, и скелеты ткачей, об'еденных волками. Но ни одной мысли о том, чтобы отказаться от невыгодных поисков и перенести их на более благоприятное время, не появилось у Байрона. Можно было просто не выступать в намеченный день февраля 1812 года, а потом, восстановив

полностью права на титул, заняться другим, более спокойным делом, нежели билль о казни ткачей. Но Байрон не свернул с дороги.

…Дожди, мокрый снег и холод вынудили его уйти из большой ньюстедской залы в другое помещение, маленькое и тесное. В антресолях нового Ньюстеда, где сорок восемь свечей языками пламени, колеблемого ветром, плохо освещали старые документы и новые письма, Байрон продолжал свои поиски с тем бешеным упорством, которое он оценивал в себе как наследство, полученное от предков.

Вот письма школьного директора доктора Глени, у которого он пробыл 1799 год и встретил новое столетие больным, так как нога даже ночью не давала покоя. Байрон мало учился и много читал. У доктора Глени была прекрасная библиотека. Помимо латинских авторов там было все, что касалось философии: книги Юма, Локка, Беркли, а также английские переводы Вольтера и Руссо. Там была даже вся многотомная французская энциклопедия: «Большой диксионер наук, искусств и ремесл».

Но вот нога поправилась, наступает 1802 год, и после нового увлечения дальней родственницей, Маргаритой Паркер, Байрон находит поверенного для своих тайн в лице своей старшей сестры. Знакомство было кратковременным, и дальнейшие отношения свелись к переписке. Надо было ехать для поступления в другую школу, в Гарроу, где усердно изучали латынь, греческий язык и английскую литературу. Однако лорд Вильям не только не желает принять участия в воспитании маленького Байрона, он не желает даже «знать о его существовании». Так, ставши лордом, юный Байрон остается «захудалым дворянином», болезненно самолюбивым, вспыльчивым, гордо затаившим житейские обиды и чрезвычайно чувствительным. Маленькая девочка Мери Дефф, затем Маргарита Паркер и наконец Мери Чаворт нарушают покой мальчишеского сердца до такой степени, что от меланхолической мечтательности у маленький Байрон переходит к бешеной раздражительности, если впечатления внешней жизни ранят его душу. В эти минуты мать, принимающая тайком от сына какого-нибудь краснощекого усатого фермера, кажется ему исчадием ада. Начинается ссора, которая сопровождается побегом в соседнюю аптеку: сын спрашивает, не просила ли его мать каких-нибудь сильных отравляющих средств. Старый аптекарь, смотря поверх очков, отрицательно кивает головой, не произнося ни слова-Он знает, что через минуту, подавляя одышку, к нему войдет полнокровная толстая дама и предложит тот же вопрос относительно своего сына.

На почве такой повышенной возбудимости возникла резкая, порывистая доброта Байрона к слабым и больным Товарищам в школе, на защиту которых он всегда выступал против сильных и грубых школьников. На этой почве возникло его болезненное ощущение человеческих страданий вообще. И это чувство осложнялось еще тем, что богатые школьники, дети новых фабрикантов и заводчиков, прекрасно одетые, никогда не нуждавшиеся в деньгах и проводившие время на спортивных площадках Гарроу, делали все, чтобы хромой четырнадцатилетний Байрон всегда чувствовал себя отстающим. Но если, плохо работает одна нога, то у красивого, хотя и не в меру толстого мальчика Байрона целы руки. И вот он начинает упражняться в плавании и становится прекрасным пловцом. Он завоевывает себе уважение товарищей, и когда насмешки по поводу его наследственной тучности больно стали колоть его самолюбие, он посадил себя на такую диету, какую при его спортивных увлечениях стрельбой, верховой ездой и плаванием не мог бы вынести никакой другой организм.

Так проходят годы в Гарроу. Адвокат Хенсон по поручению госпожи Байрон ведет дело о выделении части наследства и выигрывает большую сумму денег, около тридцати тысяч фунтов стерлингов. Сумма, вполне достаточная для среднего бюджета, однако не обеспечивает молодого лорда.

В октябре 1805 года Байрон поступает в кембирджский «Колледж св. троицы», бывший на положении высшего учебного заведения тогдашней Англии. Там наряду с прохождением наук и очень серьезным чтением Байрон присоединяет к своим спортивным увлечениям изучение бокса, карточной игры и «искусства неимоверного поглощения алкоголя». Между поездками в Соутвелл, неподалеку от Ноттингема, где жила его мать, и кабинетами Кембриджа Байрон занимается впервые писанием стихов. Уже в 1806 году в печати появляются тридцать восемь стихотворений под названием «Мелкие произведения» («Fugitive pieces»), — сборник, впоследствии тщательно скупаемый и уничтожаемый Байроном. А через год, ко дню бракосочетания Августы Байрон с драгунским полковником Ли, вышел второй сборник, в сорок восемь стихотворений, под названием «Стихи на разные случаи». Из этих сборников возникли так называемые «Часы досуга». Вот среди семейного архива томик этих стихов, а внутри вложена тетрадь, вырезанная из «Эдинбургского обозрения», с уничтожающей, непристойной руганью по адресу начинающего поэта. А вот и черновики, являющиеся ответом на критику «Эдинбургского обозрения». Первые сатирические стихи Байрона под названием «Английские

барды и шотландские обозреватели». Байрон вспоминает, как первый сатирический размах мысли разбудил в нем дремавшего озорника и насмешника.

Часы досуга, проводимые теперь в Ньюстеде, теряют свой невинный характер. Окруженный друзьями, студентами Мэтьюзом, Гобгоузом, Далласом и Ходжсоном, Байрон то совершает налет на лондонские гостиницы, то, решив с товарищами наказать скучного лектора по греческой литературе, он вводит в лекторий огромного ручного медведя и вступает в пререкания с университетской прислугой на тему о том, имеет ли право этот «благонамеренный нечестный медведь получить образование в самом лучшем колледже в свободной Англии».

Так наступил 1808 год. Огромные семейные долги поглотили наследство. Лорд Вильям умер. Арендатор Ньюстеда, лорд Грей, покидая имение, увез все, что мог увезти; расплата с ним также потребовала напряжения средств. И как раз в то время, когда Байрон отпраздновал совершеннолетие, 22 января 1609 года, наступил внезапный срыв настроения. «Бумажные пули», как назвал Байрон нападки «Эдинбургского обозрения», посыпались на Байрона именно тогда, когда самонадеянный юноша, считая себя «королем жизни» смело смотрел вперед и не ждал никаких ударов. Но даже такая маленькая приписка на титульном листе «Часов досуга», как «Байрон *Несовершеннолетний*», — и та вызвала едкие нападки печати, когда через несколько месяцев уже совершеннолетний Байрон появился в Лондоне. Его кололи насмешливые взгляды. О нем говорили, как о бедном лорде, «желающем заработать литературой». А когда настал час официального включения его в состав палаты лордов и по традиции два старейших лорда должны были ввести молодого законодателя, — вместо этого официального водворения Байрон получил только печатный устав палаты лордов. Все это промелькнуло перед Байроном заново, когда он пытался разобраться в лапках и портфелях в поисках документа, удостоверяющего его право на законодательство.

Так в бесплодных поисках прошло несколько дней. Свидетельство венчания предка своим исчезновением развенчивало, потомка. Байрон нервно откидывал папку за папкой. Вот сборы в путешествие. Вот от'езд на Восток. Вот его собственные письма к матери и сестре. Вот наброски стихов по поводу ограбления лордом Эльжином афинских мраморных храмов. «Проклятие Минервы». И вот, наконец, его собственные письма из Фальмута, куда он приехал 11 июня 1809 года и где сидел перед выездом на Восток, в ожидании попутного ветра, со слугой Флетчером.

Весь архив перерыт, и никаких следов прадедовского венчания. И вот, бросив поиски в фамильном архиве, Байрон предпринимает дорогостоящие поездки всюду, где могли быть хоть какие-нибудь следы брачной записи Байронов по церквам Англии. В маленькой Корнвалийской церкви, где венчались все моряки, увозившие девушек за море, после долгих поисков, была найдена запись о венчании деда его лорда Байрона с некоей мисс Треварион. После проверки этого документа и длинных пересудов Байрон получил право на титул лорда.

Итак, в погоне за более обширными материалами для выступления по делу восставших ткачей, Байрон направился на место происшествия в Ноттингем. И он не раскаивался в поездке. Он видел нищету по деревням и селам, он слышал и знал, что за 1811 год две тысячи больших предприятий Англии об'явили себя банкротами. В морях перехватывали хлебные грузы французский король и его союзники. Но совершенной новостью для Байрона была жизнь самого Ноттингема. Там, где еще недавно богатые крестьяне, фермеры, обитатели сел и деревень, получив из города шерсть и хлопок, работали дома на ручных станках, и потом сдавали работу городскому хозяину, лишь изредка вступая в артели в силу соседства или родственных связей, там наступила полная нищета. Ручные станки стояли без дела. Сельские ткачи и прядильщики побросали стой дома. Зато в городах, как Ноттингем, они жили сотнями в отвратительных бараках с земляным полом, со сточными канавами для нечистот, пролегающими через все клетушки этих страшных бараков. Это новая порода ткачей, пришедших из сел для работы под одной крышей ради того, чтобы об'единиться перед громадными машинами, работающими паром. Что ни год, то машина становилась совершеннее. Вот станок, за которым один рабочий заменяет собой восемь добротных, хорошо зарабатывавших ткачей. Одна фабрика делает столько в один день, сколько, округ делал раньше в неделю. Голодные и оборванные, нагруженные четырнадцатичасовой работой, эти люди Ноттингема с ужасом смотрят на мир, ожидая, что завтра тихий голос из конторы об'явит увольнение новой сотне и новой тысяче, а дальше — голодная смерть и самоубийство целых семей.

Тут неподалеку огромный Шервудский лес. Молва рассказывает о том, что там когда-то жил Робин Гуд — стрелок, защитник бедняков. Первые рабочие об'единения связаны были с этой легендой. Из Шервуде кого леса ждали появления грозного и сильного мстителя за страдания рабочего люда. Называли его имя. Это был некий Нэд Лудд. Его помощники, его вестники, «луддиты», ходили по селам и городам Часто слышали в лесах и

оврагах, на глухих дорогах и по берегам Трента ночную стрельбу, голоса и таинственную маршировку неведомого войска. В Манчестере неизвестные люди врывались на фабрику и тяжелым енохом, как называли кузнечный молот, разбивали станки, трубопроводы паровых машин и даже головы хозяев. Такие же таинственные люди четыре раза проникали в дома Ноттингема, требовали прекращения работы и распространяли таинственные письма из «Конторы Нэда Лудда в Шервудском лесу» в министерство внутренних дед. В местечке Арнольд разбиты енохом шестьдесят вязальных станков, принадлежавших одному из самых ненавистных предпринимателей. 4 ноября был такой случай: вязальщики собрались около Ноттингема, потом, надев маски, вошли с разных концов в город, ворвались в дома предпринимателей и потребовали восстановления в правах всех уволенных рабочих. Мало того, они указывали от имени того же Неда Лудда из Шервудского леса, что если установка новых «широких» станков будет сопровождаться увольнением рабочих, то пострадают не только станки, но и хозяева станков. Эти люди проходили по Ноттингему с песнями такого содержания: «Пусть пугаются виновники человеческих страданий, но честному труженику нечего бояться ни за жизнь, ни за имущество. Мы ненавидим только *широкий* станок, на котором хозяева выткали нам *узкую* плату. Смерть машинам, убирающим людей, и наш Лудд, ломая все преграды, исполнит приговор рабочей семьи».

Прошло два дня. По дороге из Сеттона на Басфорд поползли сквозь туман вереницы угрюмых крытых повозок Те же люди в масках подстерегли эти возы, остановили лошадей, разгрузили подводы, на которых оказались ненавистные «широкие» станки. Загорелись костры, загудели молоты. Лошади вернулись к удивленным хозяевам с облегченными возами, а замаскированные люди исчезли. И вот отчаянные депеши летят в Лондон. В парламентских регистрах значатся донесения агентов: «Невозможно описать состояние умов в этом городе в течение последних четырех-пяти дней: день и ночь парадными маршами идут войска. Разводы на маленьких площадях создают впечатление начавшейся войны. Луддиты переправились через реку Трент, вошли в селение Реддингтон, сломали там четырнадцать станков, оттуда пошли в Клифтон и разрушили там все станки, оставив в целости только два. Клифтонская полиция, перепуганная насмерть, отправила в Ноттингем извещение с просьбой послать эскадрон гусар. Но в Ноттингеме не могли собрать эскадрона. Послали сколько могли, исхитрившись так, чтобы одна часть гусар организовала погоню за луддитами, другая разбилась на мелкие отряды у всех переправ и бродов

через Трент, чтобы помешать луддитам скрыться. Но это не помогло. Луддиты не растерялись. Лодки, тайно заготовленные по реке, перевезли их там, где всего меньше ожидали речные сторожа».

Сохранился другой документ: секретное донесение городского клерка Ноттингема министерству внутренних дел: «Наши рабочие притворялись доносчиками: и, получив за доносы установленную вами плату, они обращали деньги на защиту и спасение захваченных рабочих». А когда действительные доносчики выдавали рабочих, причастных к движению, то после этого они совершенно лишались возможности оставаться в Ноттингеме и вынуждены были переселяться в другие графства. Другой клерк *в* секретном донесение парламенту сообщает, что некая женщина из Ноттингема по дороге в полицейское управление, куда она шла для дачи показаний против луддитов, была замечена рабочими и просто горожанами, которые у самого входа в полицию бросились на нее с целью убить. Полиция оказалась бессильной, и только выстрелы военного патруля спасли жизнь доносчице. Судья Бейли боялся выносить приговоры. Владельцы ноттингемских фабрик осаждали Лондон жалобами на трусливого судью.

И вот как раз в это время лорд Байрон в целях, расследования приехал на место происшествия. Ему представилась странная картина. Голубая речка, рыжая глина и прошлогодняя зелень выглядывают из-под снега по обоим берегам навстречу скупым лучам зимнего солнца. Через мост, в красивых медных киверах с султанами, в красных мундирах, под звуки полкового оркестра и длинных индийских барабанов, проходят гвардейские гусары в пешем строю. Далеко на берегу Трента горят костры, белеют палатки из русской парусины, играют сигнальные трубы; флажки развеваются над прибрежными домами в доказательство того, что здесь находится штаб кавалерийских частей майора Стерджена, победоносно захватившего поселок на левом берегу Трента в целях охраны британской короны и спокойствия лордов Англии. Четыре пушки смотрят с холма на рабочие хижины и улицы, запруженные ткачами.

27 февраля 1812 года, в 4 часа пополудни, Байрон закрыл кожаный портфель с последней корректурой своей первой книги, выходящей в Англии после приезда его с Востока. Пара лошадей доставила его к указанному сроку в здание палаты. Скорее прикрывая бешенство, чем разыгрывая спокойствие, новый лорд вошел на трибуну. Проходя кулуарами, он уже слышал, что вопрос о казни рабочих предрешен, что никто из больших

государственных деятелей не будет говорить о рабочем бунте и Ноттингемском графстве. Свидетели «девственной» речи Байрона говорят, что она поразила слушателей необыкновенной уверенностью и красотой своего построения.

Громко и уверенно прозвучала в палате лордов первая длинная фраза, произнесенная Байроном:

«Милорды, предмет, впервые представленный теперь на рассмотрение ваше, хотя и является новостью для этой палаты, однако вовсе не нов для нашей страны. Я даже думаю, что он вызвал самые серьезные размышления у граждан всех, классов еще до того, как привлек внимание вашего законодательного учреждения, а между тем только ваше вмешательство могло бы оказать делу своевременную и необходимую помощь».

Если бы Байрон, остановившись, посмотрел в сторону, где сидит лорд Холланд, он заметил бы резкое движение этого человека, показывающего министру Персивалю письмо Байрона от 25 февраля 1812 года. Там, между прочим, говорилось: «…я считаю ткачей людьми пострадавшими и принесенными в жертву выгодам нескольких предпринимателей, которые обогатились благодаря приспособлениям, лишившим массу ткачей их работы. Вот вам пример: с изобретением известного рода станка один человек в состоянии исполнить работу семи и, следовательно, шестеро остаются безработными. Следует еще принять во внимание, что полученный таким образом товар гораздо худшего качества; его почти невозможно сбыть на родине, и он быстро фабрикуется с видами на экспорт. Безусловно, милорд, как бы мы ни радовались прогрессу в области изобретений, который может быть полезен человечеству, мы не должны допускать, чтобы человечество приносилось в жертву техническим усовершенствованиям. Поддержка и достаток рабочей бедноты — дело гораздо большей важности для человечества, чем обогащение нескольких монополистов, какими бы то ни было усовершенствованиями в области техники, которые лишают рабочего куска хлеба и делают труженика человеком, не имеющим права на заработок… Причиной моего выступления против проведения билля является его явная несправедливость, несомненная бесполезность. Я — очевидец положения этих несчастных людей, и считаю это положение рабочих позором для цивилизованной страны. Можно осуждать их эксцессы, но нечего им удивляться. Последствием настоящего билля будет открытое восстание. Несколько слов, которые я намерен сказать во вторник, будут основаны на этих взглядах и наблюдениях, которые я собрал на месте. Я убежден, что наша предварительная, осведомленность водворила бы этих людей, на места их прежней

работы, и страна успокоилась бы. Быть может, еще не поздно; во всяком случае стоит попытаться. Я полагаю, милорд, что вы не вполне согласитесь со мной в этом вопросе; я вполне искренне подчиняюсь вашему компетентному мнению и опыту, я проведу другую линию аргументации) против билля или буду совсем молчать, если найду последнее более разумным. Обсуждая поведение этих несчастных, я верю в существование бедствий, которые должны скорее вызвать чувство горя, чем стремление к наказанию. Я остаюсь с почтением, милорд, вашим покорным и обязанным слугой.

Байрон.

P. S. Может случиться, что вы, милорд, по прочтении письма сочтете меня слишком снисходительным по отношению к этим людям и назовете, пожалуй, *„стачечником“*.»

Байрон продолжал речь:

— Я слышу здесь мнение двух лордов. Я знаю, что лорд Эльдон и лорд Райдер внесли билль о применении вооруженной силы и смертной казни. Они кричат, что «ткачи образовали тайное общество для уничтожения не только своего благосостояния, но и самих средств к нему». Но можете ли вы забыть, что в сущности это все представляет собой чистый результат английской политики, разрушительных войн последних восемнадцати лет? Эти войны уничтожили условия спокойного труда, они подорвали ваше благосостояние, они подорвали всеобщее благосостояние: Эта политика, лорды, родилась в Англии одновременно с применением положения «нет больше великих государственных умов!» Это безумная политика. Она пережила мертвецов, чтобы лечь печатью проклятия на живущих, и так, очевидно, будет в Англии в третьем и четвертом поколениях!

Последняя фраза особенно встревожила почтенных лордов. Десятки горящих глаз устремились на Байрона с выражением негодования, десятки старых и лысых голов вышли из полусонного состояния, забормотали, закивали; иные с тревогой, иные с ненавистью смотрели на говорящего, а он продолжал:

— Ведь до этих восстаний ткачи никогда раньше не ломали своих станков; они работали на них, работали до износа, и даже потом сами рабочие чинили свои станки, чтобы, износившись, станки не стали препятствием к работе, дающей насущный хлеб. Что же мудреного в том, что в наши времена, когда банкротство, злостное мошенничество и наглый обман встречаются на каждом шагу, даже в таком общественном слое, который, право же, господа лорды, ничем не отличается от положения здесь сидящих, что, говорю я, мудреного в том, что низшая, хотя в

сущности говоря, самая полезная часть Англии, могла забыть, как говорите вы, забыть свой долг, впав в состояние тягчайшей нищеты. Однако эта рабочая масса, даже под угрозой нищеты, оказалась неизмеримо выше многих представителей вашего класса. Обратите внимание на то, что преступник из аристократов находит средство обходить законы, и в то же время придумывает новые изысканные репрессии, расставляет новые убийственные ловушки для этой несчастной, так называемой «физической силы», которая доголодалась до преступления! Эти люди хотели бы взрыхлить поле, но заступ оказался не в их руках. Они вышли на дорогу просить милостыню, — никто им не подавал. Их право на труд, их собственные средства к существованию были отняты, их руки повисли, так как никто не допустил их к работе. Так можно ли удивляться тому, что эти люди пошли по пути восстания, как бы ни сожалели их одни и как бы ни осуждали их другие!.. Я скажу вам, лорды, что сами владельцы предприятий спровоцировали разрушение своих станков. Начатое мною следствие основано на неопровержимых документах, и не имею ли я права потребовать, чтобы вы обратили всю систему ваших взысканий на этих провокаторов. Мне кажется правильным, чтобы нас не приглашали сразу, не изучив подробно всех обстоятельств, к обсуждению билля с поспешностью, ничем не обоснованной и противозаконной, чтобы нас не приглашали сразу предпринять массовые приговоры и апробировать казни, подписанные вслепую.

Вся палата зашевелилась. Люди всех политических оттенков с любопытством переспрашивали друг друга: — Кто говорит?

— Что это за новый оратор?

— Что это за перенесение революционных речей в палату пэров?

Фамилия оратора шепотами, хрипами прокатилась по скамьям из угла в угол, из одной стороны в другую. Лорд Райдер и сэр Гоксбери в негодовании рвали клочки бумаги, лорд Эльдон сидел красный, как рак, с глазами навыкат и, казалось, готов был растерзать Байрона в куски. А с трибуны гремела речь:

— …Я слышу здесь, что этих людей зовут «чернью», отчаянной, опасной и невежественной. Ясно ли вы отдаете себе отчет в том, насколько вы, здесь сидящие, обязаны этой самой «черни»? Эта «чернь» работает на ваших полях, она прислуживает в ваших домах; она управляет вашими кораблями, из нее набирается ваше войско; от того-то именно она и дает вам возможность угрожать всему миру. Но зато будет время, когда ваше пренебрежение к ее интересам, когда бедствия этого великого множества рабочего люда повергнет этот люд в

отчаяние, и тогда это будет живой угрозой вам… Разве можно превращать в тюрьмы целые графства! Вы хотите воздвигнуть плаху на всех полях, вы уже вешаете людей, как копченую рыбу. Вы хотите восстановить Шервудский лес, как место для королевской охоты и как заповедник беглецов, об'явленных вне закона. Этими мерами вы хотите избавиться от голодающего населения. Но когда смерть оказывается единственным избавлением для этих людей, неужели вы воображаете, что ваши драгуны могут обеспечить спокойствие Англии? Неужели вы думаете, что то, чего не могли сделать ваши гренадеры, сделают палачи? Авторы вносимого билля могут гордиться тем, что они унаследовали славу африканского царька, записывавшего свои узаконения кровью…

Чайльд Гарольд в Лондоне

Кто этот Байрон, выступающий с такой дерзкой речью?

В ответ на эту фразу, еще долго звучавшую в Лондоне, в одно прекрасное утро марта месяца 1812 года появилось об'яснение, сразу заставившее по-новому говорить об авторе дерзкой речи. Вышли две первые песни «Странствований Чайльд Гарольда», которые сразу, по выражению самого Байрона, «застали его знаменитостью». Неожиданность этого успеха обусловлена была и формой и содержанием поэмы. Типичная с нашей точки зрения романтическая поэма была написана в старинной форме девятистрочной строфы, в которой чередуются рифмы.

1а 2б 3а 4б 5б 6в 7б 8в 9в. Это сложное и трудное чередование рифмы так же действовало на воображение читателя, как действует на зрение подкинутая к небу стрельчатая арка из тяжелых гигантских камней.

Со стороны содержания новая поэма Байрона также интриговала и беспокоила читателей. Это была какая-то всемирная политическая география в стихах; в поэме не было ни завязки, ни развязки, ни классического построения сюжета. В «Странствованиях» описывались путешествия юноши (по-английски — child — юноша благородного происхождения, предназначенный к посвящению в рыцари). Но этот юноша, Гарольд, в отличие от обыкновенного английского туриста, имеет совсем иные, чем тот, побуждения для своих путешествий. Его не гонит политическое преследование, его не интересует путешествие с целью открытий, он не ищет удовольствий в ознакомлении с экзотическим бытом далеких стран. Одним словом, нет у него никаких целей. Он жертва своего внутреннего разлада, своего страшного разочарования, заставляющего бежать от самого себя, — вот причина его скитаний. Им, как впоследствии пушкинским Онегиным, «овладело беспокойство, стремленье к перемене мест». Недаром Пушкин, рисуя своих ранних героев, хотя бы кавказского пленника, говорил: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи девятнадцатого века». Пушкин полностью развернул этот характер, когда изображал своего Онегина — москвича в гарольдовом плаще. Потом эти дети Чайльд Гарольда, постепенно вырождаясь, мрачными тенями прошли по всей мировой литературе и сделались главными героями тех писателей, которые рисовали нам образ неприкаянного молодого человека, ищущего себе места в жизни.

Необходимо иметь в виду, что сам Чайльд Гарольд имеет довольно сложную и притом совсем не английскую литературную родословную. В 1774 году в Германии вышла книжка под названием «Страдания молодого Вертера». Ее автором был выходец из буржуазной семьи, ученый, философ, министр Веймарского герцога, впоследствии гениальный поэт и великий оппортунист в делах житейских — Иоганн Вольфганг Гете. За пятнадцать лет до Великой французской революции его книжка звучала страшной тоской, выросшей на сумрачной и безрадостной почве самой отсталой европейской страны. Страдания молодого Вертера, его уход из жизни, его представление о человеческом обществе, так похожем на тюрьму, стены которой разукрашены ландшафтами, оваренными солнцем, с широкими свободными горизонтами, — все это, как нельзя более, отвечало настроению молодой германской буржуазии, угнетаемой тупым и жестоким дворянством. Все это говорило о том, что молодые люди нового сословия понимают жизнь иначе, что им тесно в старых рамках феодального уклада. В них появилось сознание умственного превосходства перед дворянством. В отличие от людей, владеющих землями и крестьянским трудом, эти молодые и старые горожане трудились над организацией производств, они двигали науку, они создавали философские системы. Они знали, что люди родятся свободными и равными в правах, и с любовью повторяли слова Руссо о том, что все выходит прекрасным из рук творца и все портится в руках неумелого человеческого общества. Молодой Вертер заражен ядом религиозных сомнений. Он испытывает целый ряд неудач, и самая главная неудача — это сомнение в ценности жизни, так как природа одарила его чистейшими стремлениями к чистейшему счастью без возможности удовлетворить это стремление.

Не все молодые люди такого склада кончали так плохо, не все уходили из жизни. Соратник Гете, герцогский фельдшер Фридрих Шиллер, изобразил другого неприкаянного молодого человека — Карла Моора. Это был идеальный разбойник, разбойник благородный. Вся совокупность жизненных условий бросила его на большую дорогу. На этот раз — это уже выходец из семьи феодалов, который бросает вызов всему обществу. Опять писатель молодой буржуазии ищет для молодежи дорогу к будущему. В воздухе той эпохи носился этот протест, но он исходил не из той среды, которая была способна на железный закал классовой воли, на огромность коллективных действий.

На смену героям Шиллера, на смену Вертеру появилось новое издание неприкаянного молодого человека. Из Бретани, из замка с заплесневелым прудом и протекающими крышами, окруженного

землянками без стекол, в которых крестьяне спят на прошлогодней листве, бежал от громов революции дворянин Шатобриан и начал скитальческую жизнь. Этот молодой человек был в Америке, скитался по глухим лесам в надежде найти уголок девственной и нетронутой человеком природы. Затем он эмигрировал в Англию, превратившуюся в штаб европейской контрреволюции, но там постепенно, под влиянием гигантских событий, стал критически относиться к своему сословию и вступил на путь поисков примирения с действительностью. Он почти был готов броситься в об'ятия суровым истинам революции, когда Наполеон Бонапарт сломал хребет французской республики.

Шатобриан опять попал не в тон. Он опоздал приобщиться к революционной идеологии, а теперь он опоздал понравиться первому консулу. Из политической карьеры молодого человека ничего не вышло, но он, нашел живой и очень своеобразный отклик в новом французском читателе. Шатобриан заговорил живым и горячим языком новой французской публицистики; это был сумбурный, недоработанный язык парижских секций, понятный мелкобуржуазной массе французских городов. Но вместо революционного содержания, вместо живых и свежих людей, Шатобриан преподносил утомленному и напуганному французскому обывателю сумбурно меланхолические чувства с прослойкой контрреволюционных политических размышлений и с явно реакционным стремлением восстановить нрава религии.

В одной из его книг мы находим рассказ о разочарованном скитальце Ренэ. Мы узнаем в герое рассказа «Ренэ» самого господина Шатобриана, но в отличие от своего героя, который «никогда не желал говорить о своих приключениях, хотя собеседникам очень хотелось узнать, какое горе привело знатного европейца к странному решению укрыться в пустыне Луизианы», автор гораздо болтливее. Мы узнаем, что он был непреклонного нрава и неровного характера. То шумливый и веселый, то молчаливый и грустный, он собирал вокруг себя своих юных товарищей, затем покидал их внезапно, потом наблюдал бегущие облака и слушал, как дождь пронизывает древесную листву.

Оказывается, это старый знакомый — это Вертер, но вместо его серого камзола мы видим меланхолический голубой сюртук с черным бархатным воротником и сапоги с желтыми крагами, хлыстик в руке, перчатки, верховую лошадь. Старый Вертер — состарившийся неприкаянный молодой человек, но вместо свежего и чистого весеннего мироощущения мы видим, что вокруг этого нового издания Вертера — признаки гниения, разложения. Ренэ страдает от не совсем здорового стремления к нему родной

сестры, монастырский быт тянет его к морю, море тянет его к берету. Он нигде не находит себе покоя. В отличие от молодого Вертера, на которого склепом наваливается тяжелая действительность, сила которой непреодолима, этот новый Вертер, Ренэ, видит перед собой покорные и послушные обстоятельства жизни. Старый Вертер еще не успел вкусить меда и уже умирает. А Ренэ настолько пресыщен, что его не привлекают лучшие плоды жизни и деятельности, он бежит от самого себя, бежит без оглядки, и там, где новое человечество без всяких иллюзий шло на труд и на борьбу за лучшее будущее, он не находит для себя ничего достойного внимания. Это плохая и упадочная обида на мир; неблагородная и смешная ссора с историей заканчивает первый цикл истории молодого человека XIX столетия.

Прошло десять лет, и вот в Лондоне появился Чайльд Гарольд, полузагадочный скиталец, вовсе не склонный к слезливости и чуждый сентиментализма. Если на первых порах он кажется шалопаем и снобом, то это впечатление исчезает, как только юный бездельник начинает давать оценки огромным политическим событиям, происходящим на территории Европы. Он подвергает жесткой критике систему человеческих отношений, рабство восточных стран, ханжество и другие черты, возникающие под влиянием религии, он поражает читателя смелостью и неожиданностью мысли. И если он смотрит разочарованными глазами на все, что встречает по пути, то он делится с читателем причинами своего разочарования; он рассказывает о победах английского оружия в Испании и говорит:

…пройдут года
И все ж потомство, полное презренья,
Позора не забудет тех вождей,
Что, победив, узнали пораженье…
Их ожидают в будущем глумленья
И гневный приговор суда грядущих дней.

И далее:

Так думал Чайльд, один бродя по горем;
Тяжелых дум он здесь изведал много
И пожалел, немой тоской об'ят,
Что долго шел преступной дорогой;
К проступкам он своим отнесся строго:
От света истины померк Гарольда взгляд.

И далее:

Гарольд вперед несется, очарован
Красой холмов, ущелий и долин…
Не горестно ль, что цепью рабства скован
Тот светлый край?

Какую громадную эволюцию проделал молодой Вертер! Воплотившись в поручика Наваррского полка, он через десять лет уже не выдержал соприкосновения с действительностью, и его бегство от самого себя превращается в поиски действительности. Если откинуть иронические об'яснения Байрона, что, дескать, его Гарольд является повторением бандита Зелуко, если откинуть вообще мистификацию Байрона, которая является опытом самозащиты, то мы увидим, что Чайльд Гарольд все больше и больше теряет неопределенные черты неопределенного героя и под конец превращается в самого автора. То, что впоследствии было названо второй песнью «Чайльд Гарольда», было вчерне закончено уже на берегах Малой Азии, в Смирне. Рукопись Байрона, представляющая собой черновые наброски того, что вышло в Лондоне в марте 1812 года, датирована: Смирна, 28 марта 1810 года.

Поэма, появившаяся 10, марта 1812 года во всех книжных магазинах Лондона безымянно, сразу сделала имя автора знаменитым. За 1812 год поэма выдержала пять изданий сразу.

В том же году Байрон еще дважды выступал в палате лордов, и оба раза неудачно. Он выступал в защиту закона о равноправии ирландских католиков. Дело в том, что с XVII века экономически обоснованная вражда Британских островов с засильем католической церкви на континенте не только приобретала заостренные формы, но и была окрашена моментами вражды национальной. Ирландцы, шотландцы и бритты в силу политического об'единения числились в составе Соединенного королевства, но фактически были раз'единены как системой управления, так и целым рядом религиозных, бытовые и внутринациональных признаков. Традиции католической церкви в Ирландии сохранились в среде фермеров, мелкопоместных дворян и горожан. Критика не отмечает встречи Байрона в дни возвращения его в Лондон с памфлетистом Коббедом, — это был редактор еженедельной газеты «Режистер». Этот публицист с негодованием рассказал Байрону о том, что принц регент и министры ведут возмутительную травлю ирландских солдат, которые, так же как и природные бритты, сражаются в рядах великобританской армии с Бонапартом. Эта травля ирландских

солдат, запрещение повышать их в чинах, производить в офицеры об'яснялась очень просто: король еще до своего сумасшествия заявил, что он «никогда не будет возвращаться к вопросу о даровании равноправия католикам».

В 1811 году выяснилось, что Георг III не может больше править Англией. Король обнаружил явные признаки полного помешательства, но так как он был еще жив, то его наследник и сын под именем регента приступил к управлению страной. Приобщил он к этому и специфическую среду аристократов и крупнейших буржуа, обновляя старые фамилии земельных дворян выходцами из среды крупных купцов-бандитов. В 1812 году религиозная рознь и чисто ирландские стремления к самостоятельности приводили к тому, что на фронте, в боевой обстановке, героические люди Ирландии, сражавшиеся против Наполеона, не получали повышения, равно как и солдаты, провинившиеся в боевой обстановке, получали телесное наказание только в тех случаях, если они были ирландцами.

Последующие речи Байрона, как мы сказали, не имели успеха в палате лордов. Ему было вменено в вину то, что памфлет Коббеда об ирландских католиках на фронте совпадает с его собственной речью. Да и мало ли еще с чем неприятным для англичан совпадает выступление Байрона. Вот сэр Френсис Бердет — депутат палаты общин — требует изменения избирательной системы Англии; он говорит, что города, населенные новыми людьми, прибывшими из деревень на фабрики, лишены права избирать депутатов в палату общин, в то время как местечки Англии, давно залитые водой моря, наступающего на старинные берега, попрежнему сохраняют свои избирательные права, а так как здесь давно уже не может жить ни один человек, то ближайший лорд выплывает из своего поместья на лодке, чтобы с моря голосовать за угодных ему депутатов. Да и мало ли других, простых и сложных махинаций придумывает старая веселая Англия в тех случаях, когда ей необходимо поддержать старый порядок.

Если существует поговорка «семь раз отмерь и один раз отрежь», то Англия на основах неписаной конституции, защищающей всегда и в первую очередь частную собственность и богатого человека, говорит, что лучше семь тысяч раз отмерить, чем один раз отрезать хотя бы миллиметр благосостояния из километра богатства в пользу рабочего населения Англии. Неписаная конституция основана на «великой хартии вольностей» и других актах, среди которых теоретически не последнюю роль играет Habeas Corpus Act. Этот последний является тем поводом для хвастовства, который либералы разных стран выставляют как

самое замечательное доказательство английской свободы. Согласно этому акту всякий гражданин, задержанный на улице при совершении преступления или где-либо в общественном месте, имеет право требовать в течение суток пред'явления судебного обвинения или приказа об освобождении. По этому, акту никакое жилище не может быть подвергнуто ни вторжению полиции, ни вхождению какого бы то ни было постороннего лица. Эти прекрасные слова закона, как песни сирены, очаровывали политических деятелей либерального склада на всем протяжении истории XIX века. Но реальный комментарий к этому закону говорит, что Англия давно несвободная страна. Отмена этого акта о неприкосновенности личности производится всегда, когда предприниматель боится за свое имущество и когда он под видом спасения страны спасает свою банковскую наличность. Недаром депутат Шеридан, автор веселых и печальных драм «Школа злословия», «Соперники» и т. д., говорил в унисон с сэром Бердетом: «Отмена акта, неприкосновенности всегда производится под видом спасения страны в опасный период времени, и много красноречия расточается на избитую тему о якобинских принципах и скрытой измене. Наши министры всегда поют одну и ту же соловьиную песню и клевещут на стремления нации. Они изобретают обвинения в вероломстве и предательстве и в государственной измене. Это доказывает только одно: Англия в безумии распространяет устами своих министров химерическую тревогу, а на самом деле в стране нет никакого мятежного духа, а есть только справедливое негодование».

Если для Шеридана эти намеки прошли безнаказанно, то только потому, что они были сказаны с трибуны и не попали в печать. Сэр Френсис Бердет надумал напечатать эти страшные фразы. И вот возникает давно не практиковавшаяся в Англии попытка арестовать члена парламента. Спикер палат является к Бердету на квартиру и от имени парламента приказывает ему итти в тюрьму. Бердет круто разговаривает со спикером. Он говорит: «Палата сошла с ума», и без обиняков спускает спикера с лестницы. Вместо тюрьмы сэр Френсис Бердет является в парламент. Он берет слово вне очереди, и прежде чем его успевают схватить за руки, он вбегает по ступенькам трибуны и громко заявляет о несообразном с законами Англии желании отдельных депутатов, интриганов низкого сорта, подвергнуть неслыханному аресту законного депутата лондонского квартала. Не слыша криков, раздавшихся за его спиной, Бердет успевает вернуться к себе, а тем временем палата выносит постановление обязательно отправить в Тоуэр, в эту страшную, грозную башню, видевшую тысячи людей, обреченных на смерть, и этого

«свободного, неприкосновенного депутата старой конституционной Англии». Трудно было, конечно, взломать прикладами запертую дверь его квартиры; тем более, что весь квартал встревожился по поводу такого решения.

— Знают ли солдаты в чем дело?. — спрашивает Бердет в форточку.

— Нет, им ничего не известно, — отвечают ему снизу.

Проходит три дня, сэр Бердет видит с чердака, как толпы людей, вооруженные предметами домашнего обихода — кочергами, топорами, кухонными ножами, — большими группами собираются к нему на выручку, раздаются воинственные клики, солдаты озираются дико по сторонам, окруженные лондонскими гражданами. Сердце Бердета не выдержало; он вызвал дежурного офицера, открыл ему дверь, оделся и добровольно пошел в тюрьму, чтобы не быть виновником кровопролития.

15 января 1811 года, как мы сказали, сумасшедший Георг III должен был передать королевскую власть своему сыну, будущему Георгу IV, который первоначально стал у власти под именем регента. Как ни слабо было влияние короля в феодально-капиталистической Англии, но эта фигура Георга IV, тогдашнего принца-регента, как нельзя более отвечала самым затаенным желаниям самой реакционной части английского общества. Лорд Персиваль продолжал политику реакции, и если 11 мая 1812 года полусумасшедший человек с пистолетом в руках вместо ненавистного лорда Гауэра выстрелом из пистолета убил лорда Персиваля, то, быть может, он отражал настроение бедных людей Англии, для которых политика первого министра была политикой разорения и угнетения.

Одним словом, старая, веселая, богатая, либеральная Англия в эти годы вовсе уж не была полна того легендарного благополучия, которое мы встречаем в соображениях заурядных биографов Байрона, рисующих этого поэта как человека, не сумевшего в силу дефектов личной психики примириться и найти общий язык с благородной Англией тогдашнего времени.

Несомненно, личные свойства поэта, его повышенная чувствительность или, как говорят невропатологи, сенситивность, равно как и поражение нервной системы еще в утробном состоянии, — все это предрасполагало поэта в дальнейшем к нездоровым реакциям на действительность. Но характер гения оказывался в Байроне чрезвычайно рано. Его умение переработать внешние впечатления в гармоническую систему поэтических образов, быть может, спасло его от колоссального душевного разлада, свойственного тогдашней молодежи. Об'ективируя свои человеческие достояния, Байрон достиг той необходимой высоты,

которая помогла Гете, создателю Вертера, отделаться от навязчивых меланхолических состояний после того, как его любимая Шарлотта Буфф вышла замуж за приятеля Кестнера. Недаром Кестнер писал, обижаясь на Гете, своему другу Гейненгу: «Вертер есть Гете. Лота и Альберт списаны с меня и моей жены. Мы очень недовольны им за то, что он к своему вымыслу пристегнул реальные побочные мелочи».

Но Гете, в отличие от Вертера, не покончил жизнь самоубийством. И Байрон тоже не кончил ни безумием, ни уходом из жизни. А если он на почве первой ссоры с миром испытал всю судьбу человека, претерпевающего разлад с действительностью, то необходимо из этого вывести только одно заключение, вся колоссальная писательская восприимчивость и внутренняя добросовестность художника не позволяли ему мириться с этой действительностью. Не всякий писатель обладает рецептами лечения заболевшей действительности. Двигателем исторических процессов являются не писательские рецепты, а глубокие социально-экономические причины и коллективная воля трудящихся. Но от этого не теряют своей ценности те не случайные, а закономерно возникшие диагнозы, которые дает писатель, перерабатывая впечатления действительности в творческие образы. Общество, путем познавания самого себя, испытывает удовлетворение от чтения таких произведений, которые в самом полном синтезе отражают картину наиболее ярких явлений эпохи. Быть может этим об'ясняется то, что безвестный лорд, выступавший в палате лордов против смертной казни взбунтовавшихся ноттингемских ткачей, сделался внезапно знаменитым в те дни, когда Лондон раскупил небывалый тираж (14 тысяч экземпляров) книжки «Странствования Чайльд Гарольда». Байрон делал все, чтобы погасить образ Гарольда, ибо слишком яркие черты героя явно напоминали автора. И эти, смягченные линии контура, приглушенные интонацией голоса, которые мы чувствуем в поэме, делают образ Гарольда в первых двух песнях не вполне определенным. Если читателю не сразу бросятся в глаза некоторые детали поэмы, как бы выпадающие из нее, не связанные с основным замыслом, то при историческом анализе поэмы мы ясно видим те редакционные швы, которые говорят о цензурной борьбе в бесцензурной Англии. Так же, как закон о неприкосновенности личности и жилищ реакционная Англия приостанавливала всякий раз в годы рабочих волнений и социальных бурь, так же и здесь, несмотря на свободу печати Англии, поэма сделалась об'ектом политического давления. Целых тринадцать строк были выброшены из первого издания «Чайльд Гарольда», и только впоследствии их удалось

восстановить по рукописи. Безвозвратно погибли строфы, относящиеся к лорду Веллингтону, строфы, осуждающие безобразия английских грабежей на территории Испании и Португалии, и многие другие. Байрон не предполагал печатать поэму, и только друзья, и прежде всего Доллас, убедившись в тщете своих настояний, сами, почти без ведома Байрона, начали и закончили печатание первых двух песен «Чайльд Гарольда». Этим об'ясняется та легкость, с какой Байрон отнесся к упразднению острых мест поэмы.

Первая песнь «Чайльд Гарольда» всем, начиная с эпиграфа и кончая наилучшими строфами поэмы, свидетельствует о том, что Байрону были чужды шовинистические или националистические черты. Байрон берет эпиграфом строчки из книжки «Гражданин мира» («Космополит») Фуэкрэ де Монброн (1753): «Вселенная — книга, в которой идешь не дальше первой страницы, если видишь только свою страну. Что касается меня, я листал страницу за страницей и пришел к выводу, что все они плохи; я получил полезный урок и возненавидел отечество. Грубость других людей, других отечеств заставила меня с грустью примириться и вернуться на родину. За неимением других выгод, радуюсь, что это стоило дерево, и не жалею об издержках и усталости».

Среди выброшенных строф «Чайльд Гарольда» мы находим строфы ненависти, посвященные лорду Эльджину, который, пользуясь обострением вражды между греками и турками, помутнением политической воды, ловил крупную рыбу и грабил памятники античной Греции. Насколько сильно было негодование Байрона, мы можем заключить из письма от 3 января 1810 года: «В настоящую минуту в дополнение к тому, что уже награблено в Лондоне, здесь, в Пирее, сносится на корабль бандитов и воров все, что может быть вывезено из уцелевших греческих мраморов. Рядом стоит молодой грек, который говорит, что „лорд Эльджин может гордиться разрушением Афин“», и далее: «Я не думал, чтобы честь Англии выиграла от ограбления Индии или Аттики. Бесстыдство наглого вора кажется пустяком по сравнению с наглостью человека, начертавшего на стенах Акрополя свое английское имя. Бесполезное и разнузданное скалывание и истребление барельефов может вызвать только чувство омерзения в тех, кто будет впоследствии читать имя лорда Эльджина». Байрон не раз будет возвращаться к этой теме культурного мародерства Англии.

Так или иначе, но «Чайльд Гарольд» увидел свет Балладный, архаический староанглийский тон говорит о том, что Байрон в достаточной степени отвык от английской современности за время своего путешествия. Оттолкнувшись от тяжелых

впечатлений своей личной судьбы и судьбы своего класса, Байрон все более и более отталкивался в годы странствий и от этой архаической забавы. Игра в археологию со старинной арфой в руках Чайльд Гарольда все больше и больше уходит из поэмы, в ней все чаще появляются живые образы, яркие характеристики, пленительные по звучности строфы, легкость музыкального дыхания; утроенные рифмовки последних строф каждого станса все больше и больше говорят о том, что поэт сам захвачен волшебным поэтическим потоком стихийного творчества, которое дисгармоническую раздвоенность и разлад с действительностью превращает в гармоническую настроенность поэмы.

Однако нельзя было не оглядываться на берега, которые он покинул. Уже 3 октября 1810 года Байрон писал Ходжсону: «Что касается Англии, то я давно о ней ничего не слышу. Уснули навеки все, кто был хоть чем-нибудь со мной связан. Поверенный пишет мне деловые письма, а вы — мой единственный корреспондент. У меня в мире нет друзей, хотя было много школьных товарищей. Но все они теперь „вошли в жизнь“, т. е. выступили под чудовищными и страшными личинами, кто в маске военного, кто в облачении адвоката, кто переодетый священником играет в религию, а кто просто надел на себя маску светского человека, и этот маскарад они назвали своей жизнью. Я распрощался с ними, я порвал всякую связь с этими деловыми людьми. Никто из них мне не пишет. Да я и не просил: я ведь только бедный путешественник, безвестный языческий философ, исколесивший огромные берега Леванта, я зритель многих необычайных земель и морей… и вот теперь, перед возвращением, я чувствую себя ничем не лучше, чем в день отплытия».

Друзья сомкнутой фалангой пошли в атаку на Байрона. Одни из них советовали выкинуть из поэмы места, которые могут обидеть лорда Эльджина или снизить авторитет Веллингтона, другие советовали Байрону вспомнить о господе боге и бессмертии души и о том, что люди, оставившие этот мир, будут несомненно встречаться с Байроном в загробном мире. В ответ на эти религиозные увещевания Байрон пишет Ходжсону: «Милейший Ходжсон! Советую вам оставить меня в покое с вашим бессмертием, в которое я не верю. Довольно с нас несчастий этой жизни: я считаю нелепостью строить предположения о будущем бессмертии. Если людям суждено оживать после смерти, то зачем они умирают? А уж если они однажды умерли, то какой смысл нарушать их крепкий сон, как говорят — сладостный, непробудный?»

Эти, не столько скептические, сколько трезво реалистические

взгляды Байрона опять являются новой чертой, диссонирующей с эпохой романтической фантастики, в которую вступала тогдашняя литература. Шатобриан, автор «Ренэ», все более и более шел по пути мистико-эстетической трактовки христианства. Этот крестоносец в дилижансе, рыцарь в лакированных туфлях, своеобразно интересничал, предпринимая поездки ко гробу господню для того, чтобы рассказы *об* этом паломничестве щекотали нежные сердца кокетливых пиэтисток эпохи реставрации. Набожные виверы и титулованные раскаявшиеся Магдалины окружали Шатобриана шелестом восхищенного шопота.

Вместо романтической небывальщины и эффектов дешевого героизма Байрон рисовал подлинную душевную историю реального путешественника. Он никогда не лгал самому себе и не обманывал читателя.

Письма с Востока показывают, что Байрон менее всего думал о себе как о поэте. Успех произведения, которое он считал продуктом часов своего досуга, был неожиданным для Байрона, и на распутье больших житейских дорог он вдруг почувствовал, что поэзия является для него второй натурой. Но еще не был решен вопрос о том, что же ему выбрать — дорогу политического деятеля и борца, строителя британских законов, или тернистый путь поэта?

Два представителя английского «высшего света» привлекали в эту пору внимание Байрона. Первый соблазнительный предмет подражания — это Бекфорд — автор единственной книжки «Ватек», стяжавшей ему неувядаемую и редкостную славу, столь же экзотическую, как и сама восточная сказка о калифе Ватеке. Строитель фантастического замка, праздный миллионер, разорившийся на путешествиях и эстетических прихотях, этот человек казался Байрону недосягаемым идеалом. Другой — Джордж Бремель — денди, основатель религии дендизма, замечательный своими неповторимыми и ненужными эстетическими пустяками. Биограф говорит: «Бремель носил перчатки, которые облегали его руки, как влажная кисея. Но дендизм состоял не в совершенстве этих перчаток, а в том, что эти перчатки были изготовлены, четырьмя художниками-специалистами, тремя для кисти руки и одним для большого пальца». Безродный и совсем не знатный Бремель своими костюмами, своей манерой держать себя, своей непринужденностью и тончайшим остроумием проложил себе дорогу к очень странной и единичной славе, понятной только в обществе пресыщенном, консервативном, считавшем проявление яркой мысли или свежей человеческой идеи нарушением

хорошего тона.

На жестком бессердечии и цинизме, на ханжестве, на морали, осуждающей бедняков и маскирующей преступность богатых, выросла та своеобразная житейская философия, то умение прикрыть человеческое поведение совокупностью манер, условных взглядов и трафаретов, которые вместе называются одним английским словом «cant». Бремель был модным кумиром великосветских салонов, успех в жокей-клубе и вечерние встречи в интимном кружке принца-регента были свидетельством его популярности. Будущий Георг IV был почитателем можжевелового алкоголя. Джин подавался ему в количествах, превышающих меру легендарных капитанов и моряков голландской новеллы: принц пил и наедине и с друзьями.

Однажды. Бремель, жестом руки указывая на сонетку, обратился к своему «высокому» другу со словами: «Джордж, позвоните». Принц-регент позвонил и сказал вошедшему толстому лакею Бобу: «Выведите этого пьяницу».

Серьезный биограф Бремеля говорит, что это было началом падения светской карьеры Бремеля. С воцарением Георга IV Бремель донашивал свою скуку и свои костюмы на континенте в должности английского консула. Английский король, проезжая через маленький французский городок, пригласил Бремеля в знак примирения к обеду в три часа дня. Бремель ответил, что он никогда не принимает пищи в эти часы. Примирение не состоялось, но ответ Бремеля вызвал в золотой молодежи Англии такое же восхищение, как его изысканные костюмы.

В этих мелких аристократических выпадах не было ровно ничего политического, и все же Байрон после первых головокружительных месяцев успеха «Чайльд Гарольда», вступив в большой английский свет, в первую очередь увлекся Бремелем. Длительным голодом, блюдечком риса, бисквитом и содовой водой Байрон изнурял себя в борьбе с наследственной тучностью и, достигая успеха, делал вид, что он устанавливает новую моду. Здоровый аппетит английских аристократов был серьезно поколеблен на Званых обедах, когда, пренебрежительно цедя сквозь зубы, молодой, стройный лорд отказывался от какого-нибудь фешенебельного блюда со словами: «Благодарю вас, я никогда не ем этого блюда». Все эти мелочи, все эти нелепые пустяки, характеризующие праздное общество, захватили досуги Байрона после первых месяцев успеха. Совершенно не иронически и без аффектации Байрон сказал однажды, что он предпочел бы стать Бремелем, скорее чем Наполеоном.

Но назревала другая ссора с миром. Байрон не успел сделаться Бремелем и, восхищаясь автором «Ватека», не пошел по

пути волшебной сказки. Лондон, город страшной нищеты и невероятных колониальных богатств, был все-таки столицей страны, в которой обитало десять миллионов жителей. На севере была Шотландия, уже давно расставшаяся со своей самостоятельностью. Там насчитывалось около двух миллионов. Ирландия, которая ни на минуту не забывала о вековой вражде к англичанам-завоевателям, имела население в пять миллионов, из которых искусственно насажденные землевладельцы и чиновники были преданными гражданами Соединенного королевства. Все остальное население этой страны кипело и бушевало, а в тот год, к которому относится наш рассказ, Ирландия представляла собой бочку с порохом. В Лондоне жила десятая часть английского населения. Это был самый населенный город тогдашней Европы. И подобно тому, как десять лордов владели почти всей территорией лондонского центра, так и девять десятых земель Соединенного королевства принадлежали всего лишь десяти тысячам землевладельцев Англии. Английские кредитки ничего не стоили, несмотря на парламентский билль о принудительном паритете. И если в первой главе читатель нашел описание рабочих волнений, то мы могли бы дать материал и о крестьянских беспорядках Англии, возникавших каждый раз при выселении обедневших фермеров или при помещичьем об'явлении о взимании арендной платы по курсу без паритета, причем этот денежный лаж между помещиком и мелким арендатором, лаж грабительский, всегда кончался победой помещиков.

В этих условиях такой богато одаренной натуре, как Байрон, с его бедным наследством и протекающими потолками родового замка, довольно трудно было удержаться на почве влечения к дендизму или подражания Бекфорду. Его влекли другие интересы, другая борьба.

В борьбе с действительностью

Казалось, что светские успехи вскружили голову Байрону, казалось, что с момента своей последней речи в парламенте он решил не возвращаться к политике. Все его политические выступления были столь же благородны, сколь безуспешны. Как мы уже говорили, он выступал второй раз в палате лордов, добиваясь элементарных прав для ирландских католиков, сражающихся на фронте бок-о-бок с протестантскими бриттами. Он очень остро говорил о привилегированном положении специальных протестантских школ, о способе пополнения их детьми в принудительном порядке на всей территории Ирландии. Он подчеркивал, что Англии XIX века в вопросе религиозной розни ведет себя так же, как Франция XVII столетия в лице Людовика XIV с его драгонадами, когда драгунский постой в поселке превращал этих миссионеров в сапогах со шпорами в главный фактор «добровольного» перехода гугенотов в католичество.

Речь Байрона была раскрытием огромного преступления сент-джемского кабинета. Он говорил: «Монтескье по поводу английской конституции заявил, что ее прототип можно найти у тацитовых германцев. А я добавлю, что английская система протестантских школ заимствована у цыган, ворующих детей с целью вымогательства. Эти школы пополняются, как полки янычар во время больших наборов султана Амурата или цыганские таборы наших дней, путем выкрадывания ребенка». Горячая речь Байрона не имела никакого успеха.

Третье выступление Байрона в палате произошло 1 июня 1813 года. Байрон, как нарочно, суживал темы своих речей. Если первая речь говорила об угнетении огромного человеческого коллектива, об эксплоатации трудящихся, а вторая — о религиозном изуверстве в применении к порабощенной Ирландии, то третья была защитой голоса единичного человека — Картрайта, подвергшегося нападению и остракизму только потому, что он осмелился подать проект о реформе избирательного закона. Проект не только не был допущен к рассмотрению, но сам автор подвергся аресту и оскорблению со стороны полиции и военного отряда. Интересен вывод, сделанный Байроном в своей речи: «Хотя петиция подписана только одним человеком, но факты, ею сообщаемые, таковы, что требуют расследования. Это не есть личное неудовольствие, а заявление, разделяемое множеством людей. Оказывается, что любой человек как в этих стенах, так и вне их, может подвергнуться дикому

оскорблению и такому же отказу в исполнении своего священного долга — восстановить попранную конституцию нашей страны в той части, которая предоставляет гражданам право петиции к парламенту о реформах».

Это было последнее парламентское выступление Байрона. После этой речи Байрон не возвращается к политической деятельности в палате лордов, и на этом биографы обыкновенно заканчивают обзор его политической деятельности. Мы не можем этого сделать. Если сам Байрон говорил о том, что речь в защиту ноттингемских ткачей является «предисловием» к «Чайльд Гарольду», то мы, в свою очередь, имеем право всю последующую литературную деятельность поэта на территории Англии рассматривать как отчетливую реакцию на лондонскую действительность, хотя восточный колорит и тематика поэм, вышедших с 1811 до 1816 года, как будто говорят обратное. Личность Байрона чрезвычайно многогранна. Лондонские светские успехи и его бурное увлечение светской жизнью могут быть, конечно, связаны с личным разочарованием Байрона в парламентской деятельности. Но совершенно невозможно согласиться с большинством биографов, которые считают, что литературный успех и светские увлечения отбили у Байрона охоту заниматься политикой.

Байрон никогда не был революционером в нашем смысле слова. Он никогда не был последовательным в развертывании программно-политических взглядов, он никогда не забывал о преимуществах своего дворянского происхождения. В некоторых моментах его индивидуального политического бунта без сомнения проглядывает требование лорда простить ему неуважение к закону. Однако мы имеем основание утверждать, что, отказываясь от парламентской деятельности, Байрон не только не чуждался политических интересов, но воспринимал политическое бытие Англии и Европы с той поразительной остротой наносил такие беспощадные удары по общественному быту и морали, что это гораздо больше, чем парламентские выступления, ставило великого английского поэта в резкую оппозицию к господствующим классам.

Байрон в своем индивидуальном бунте заново пересматривал всю совокупность проблем, связанных с местом человека не только в обществе себе подобных, но и в мире. Отсюда биологический ужас небытия и ощущение астрономического холода междузвездных пространств. Социально обусловленная и индивидуально пережитая разочарованность воплощается в космические образы до такой степени, что упадочные переживания Байрона приобретают иногда болезненный,

патологический характер и в эти моменты доводят его сознание до распада. В качестве производной от этих настроений возникает та неудержимость порывов Байрона-человека, которая так омрачает фигуру Байрона) — поэта. Стремление ввести в какие-то пределы хаос собственных чувств чередовалось у Байрона с безудержным стремлением выйти за пределы не только общественной морали, но и тех границ, которые в целях самосохранения ставит себе каждый здоровый человек.

Стоустая молва о знаменитом путешественнике, блистательном поэте сделала Байрона предметом повышенного интереса к нему светских женщин Лондона. Одна из них, именно Каролина Лемм, надолго задержала внимание поэта. Отношения с Каролиной Лемм не принадлежали к числу серьезных связей. Они носили на себе все черты легкости, хрупкости и неустойчивости. Быть может предчувствие непрочности этих отношений заставило Каролину, влюбленную издали в поэта Байрона, отказаться от встречи с Байроном-человеком. Каролина Лемм самым резким образом оскорбила Байрона отказом от знакомства, когда неосторожная подруга сделала эту попытку. В салонах леди Мельбурн и леди Холланд последующие встречи были все-таки неизбежны. И вдруг неожиданный визит: Каролина Лемм в костюме Королевского пажа сама врывается в жилище поэта. Если первые встречи нравились Байрону, то последующие доводили его до бешенства, — когда этот паж стал появляться в парламентских коридорах, на лестницах общественных зданий, преследуя, нагоняя и окликая свою жертву. Байрон всячески стремился уйти от этой женщины. Он вовсе не собирался ссориться с ироническим и благодушным полковником Леммом — супругом Каролины. Он не собирался вступить в супружество с разведенной светской дамой; кроме того он уже давно находил больше удовольствия в обществе леди Френсис Вебстер и леди Оксфорд. На помощь Байрону выступила зоркая престарелая леди Мельбурн, считавшая своей, обязанностью по мере надобности то устраивать ссоры, то мирить врагов, но главным образом устраивать союзы сердец. В нужный момент леди Мельбурн решила спасти Каролину Лемм от семейного скандала, спасти полковника Лемм от ухода жены, спасти Байрона от опасного непостоянства, тем более, что ей удалось выведать затаенные мысли Байрона, боящегося обширности своей человеческой свободы и искавшего «милого вожатого», как он по неосторожности в беседе с леди Мельбурн назвал «женщину, которая могла бы стать его женой». Перед невесткой леди Мельбурн, Каролиной Лемм, внезапно возникает необходимость поездки в свое ирландское имение.

Перед этим Каролина Лемм от имени леди Мельбурн передает на суждение Байрона, без ведома автора, стихи некой молодой особы Анны Изабеллы Мильбенк и добивается мнения Байрона об ее творчестве. В мае 1812 года Байрон пишет Каролине Лемм следующее письмо: «Дорогая моя леди Каролина! Я прочел со вниманием стихотворения мисс Мильбенк. В них фантазия и чувство настолько хороши, что если немного практики, то появится навык и легкость выражений. Она бесспорно необыкновенная девушка. Кто мог бы подумать, что под этой спокойной внешностью таится такая сила и таксе разнообразие мысли? Однако я полагаю, что мисс Мильбенк нет необходимости выступать в качестве писательницы. Я вообще не считаю похвальным *печатание* произведения ни для мужчин, ни для женщин, я сам нередко стыжусь этого, хотя вы и не поверите мне. Но я без колебания говорю вам, — она обладает той мерой таланта, который может вырасти, если она будет его растить. Она может получить известность. Только что был здесь один из моих друзей (пятидесятилетний писатель… нет, нет не Роджерс). Под стихами нет подписи, я показал их моему другу. Его похвалы превышают даже мои». Письмо заканчивается своеобразным абзацем: «Я не питаю желания ближе познакомиться с мисс Мильбенк, она слишком хороша для падшего духа. Она больше нравилась бы мне, если бы меньше были ее совершенства».

Разрыв с Каролиной Лемм произошел. Через несколько лет эта покинутая женщина едва не стала писательницей. Она изобразила своего вероломного любовника в романе «Гленервон», причем осталась верна своему характеру. Герой, пожиратель сердец, он, конечно, мрачный, пиратообразный. Но каждая строчка Каролины Лемм, даже там, где она стремится ненавидеть Байрона, дышит настоящей любовью и говорит скорее о милых и детских чертах самого автора, чем о дурных свойствах изображаемого героя. Недаром, когда враги предполагали выпустить итальянское издание «Гленервона», а друзья хотели помешать этому выпуску, Байрон не только не помешал, но предложил издателю денежную помощь.

Что касается мисс Мильбенк, то она, не сделавшись знаменитым поэтом, в январе 1815 года сделалась женой Байрона. Этому предшествовал ее отказ на первое предложение со стороны Байрона. Легкость, с какой Байрон перенес этот отказ, убеждает нас в том, что он, как человек сильный, нашел наилучшую форму самоубеждения: он определил себя, как виновника отказа мисс Мильбенк. Письма тогдашнего времени полны уверений в том, что Байрон не считает себя достойным всех совершенств мисс Анабеллы. Он не только писал это, но он

старался поведением доказать, что он действительно недостоин мисс Мильбенк. Он писал о себе в записках, которые называл «отрывочные мысли»: «Я любил общество денди, они всегда были очень предупредительны ко мне, но они недолюбливают литературу и делали неоднократно госпожу Сталь, Льюиса и других предметами жестокой мистификации. Сам я в молодости был склонен к дендизму и хотя рано отстал от него, но в двадцать четыре года у меня было еще достаточно старых привычек, чтобы примирить с собою дендизм. Я азартно играл, пил, играя, добился университетского диплома и вел очень рассеянный образ жизни. Я не был педантом, мне чуждо властолюбие, я мирно уживался со всеми денди. Я был почти со всеми знаком, они меня избрали членом великолепного Вотьеровского клуба, несмотря на то, что, кажется, я был у них единственным представителем презираемого литературного мира».

Продолжая вести светский образ жизни, Байрон встречался с трагическим актером Кином, с Вальтер Скоттом, с поэтом Роджерсом и очень сошелся с оратором и драматургом Шериданом. Невидимому колебания между двумя житейскими планами достигли своего апогея именно в этот год, после отказа мисс Мильбенк. Опять была сделана попытка оборвать мирное течение жизни-и броситься в чужие страны. Корабль «Бойн» уходил в дальнее плавание; Байрон выхлопотал себе разрешение на офицерскую каюту. Сохранилось письмо, в котором он назначает секретарю адмиралтейства последним сроком выезда «субботу». Но многие субботы прошли, а Байрон все оставался в Лондоне, ведя рассеянный образ жизни, — по одним биографическим сведениям, — заканчивая ориентальные поэмы в качестве послесловия к восточным мотивам «Чайльд Гарольда», — по другим биографическим сведениям. Очевидно, и то и другое характеризовало этот период жизни Байрона. И не только это, — необходимо отметить, что чередование светских безумств и поэтического творчества имело какой-то закономерный характер, и остается только удивляться слепоте некоторых биографов, которые не сумели или не желали отметить острых политических разочарований, приведших Байрона к таким конфликтам внешнего порядка, которые повлияли если не на его литературное творчество, то во всяком случае роковым образом сказались на его житейских обстоятельствах.

6 марта 1812 года в газете «Morning Chronicle» без подписи появились восемь строчек, обращенные к «Плачущей: девушке». Эти стихи звучали так:

Плачь, дочь из рода королей!..
Плачь над отцом твоим и над твоей страною.
О, если б ты могла омыть слезой одною
Позор отца и бедствия людей!..

Плачь… Пусть в глазах твоих печальных и святых
Прекрасная заря для родины блеснет,
И в светлом будущем за каплю слез твоих
Улыбкою отплатит твой народ!..

Политический характер этого отрывка был разгадан сейчас же. Номера газеты быстро разошлись по Лондону, и стихи в переписанном виде ходили по рукам. Весь Лондон повторял их наизусть, единогласно считая их автором Томаса Мура. Основанием к этому было не только ирландское происхождение Томаса Мура, но главным образом, его написанное в девятнадцатилетнем возрасте «Обращение к ирландскому народу», в котором молодой Мур с величайшим презрением клеймит английскую национальную партию и считает Англию «страной преступников против Ирландии». Никто не сомневался в том, что речь идет о принцессе Шарлотте, дочери принца-регента и Каролины Брауншвейгской. Судьба этой молодой девушки была широко известна. Ребенком она узнала немало печали, боялась отца так же, как боятся дикого животного. Разлученная с матерью и находясь все время во дворце, принцесса Шарлотта имела возможность слышать и знать больше, чем королевские министры, особенно потому, что ее присутствию не придавали никакого значения и отец при ней не стеснялся.

Через четыре дня после появления стихов, когда в лондонском обществе слишком громко заговорили о происшествии, вызвавшем слезы принцессы Шарлотты, в газете «Курьер» появилось неуклюжее «политическое извещение», Которое описывало «происшествие в Карлтон Таузе» 22 февраля: «Общество состояло из принцессы Шарлотты, герцогини Йоркской, герцогов Йоркского и Кембриджского, лордов Мойра, Эрскина, Лодерделя и господ Адамса и Шеридана. Принц-регент выразил свое *удивление и неудовольствие* поведением лордов Грея и Гренвиля. На это лорд Лодердель с недопустимой при дворе свободой заметил, что вышеназванные лорды не одиноки, а имеют многочисленных политических сторонников, и что лорд Лодердель сам присутствовал при составлении ответа на письмо принца-регента герцогу Йоркскому, предписывающее об'единение управления Ирландии и Англии, что лорд Лодердель участвовал

в протесте и вполне одобряет мысли лордов Грея и Гренвиля. Принц был глубоко огорчен словами лорда Лодерделя, а принцесса Шарлотта, видя его волнение, опустила голову и залилась слезами, после чего принц-регент обернулся и просил присутствовавших дам удалиться».

Из этого неуклюжего сообщения жители Лондона могли понять всю важность и серьезность, какую придали в правительстве восьми строчкам безвестного стихотворца. Но вместо успокоения началось такое обсуждение подробностей происшествия во дворце 22 февраля, какое привело к полному установлению истины: Гренвиль написал возражение на приказание принца-регента уничтожить всякие признаки самостоятельности Ирландии; принц-регент, встретив Лодерделя на вечернем приеме, набросился на него с руганью как на участника протеста. Лодердель не растерялся и стал возражать. В ответ на это принц Георг закричал на него, обещая крутой поворот в сторону еще большей реакции, и повидимому жесты принца-регента, всегда нетрезвого и возбужденного, Настолько перепугали собравшихся, что принцесса Шарлотта, всплеснув руками, зарыдала. Будущий король Англии бросился на дочь с кулаками, и принцесса Шарлотта, быстро вбежав в большую залу, поразила танцующих гостей своим раскрасневшимся лицом, смятенным видом и слезами.

В Лондоне начались усиленные поиски автора стихов, посвященных «Плачущей девушке». Газета не выдала Байрона, быть может потому, что сама не знала автора. Томас Мур сумел во-время отказаться от авторства, а когда друзья Байрона напали на верный след и один из них прямо обратился к нему с письмом, Байрон ответил очень красноречивой фразой: «Не я писал эпиграммы, которые вы мне приписываете, но если бы мне пришлось выступить бомбистом, то, уверяю вас, мои бомбы полетели бы в голову принца-регента». Опровержение в достаточной степени сильное, после которого никто уже не сомневался в авторстве Байрона, и первое маленькое выступление против королевского дома несомненно положило начало большим преследованиям поэта.

Ежегодно правительство Англии, как писал Байрон, «выпекало пирожки», то вроде закона «о вредных и мятежных сочинениях», в котором говорилось, что «всякий человек, с мятежным намерением распространяющий устно или письменно какие-либо слухи, слова, сочинения, совершает преступление. А возбуждение дурных чувств в отношении к королю, к законам страны, к палате парламента подлежит суду». Не менее красноречивым был закон о митингах: «Ни одно собрание более

чем в пятьдесят человек не может состояться без разрешения местных властей. Представитель местной власти обязан присутствовать на таком митинге и наблюдать, чтобы ничего не произносилось против короля, министров парламента и законов страны. Кто заговорит так, — да будет арестован. Кто митинг превращает в волнение, — да будет из'ят. Собрание, ведущее себя бурно, — да будет разогнано применением вооруженной силы. Происшедшие в таких случаях убийства не возлагаются на ответственность местных властей».

Характерно для тогдашней Англии это об'единение парламента и правительства и противопоставление этого об'единения всему остальному населению страны. Это станет понятным, если вспомнить, на основе какой избирательной системы созывалась английская палата общин. Существовали города и графства, в которых основная масса населения не знала, что такое избирательное право. В Эдинбурге — главном городе Шотландии — с населением около девяноста тысяч человек только семьсот граждан имели избирательные права. В Ноттингеме из тридцати тысяч жителей только двадцать человек обладали избирательными правами. Конечно, при таких условиях состав парламента с его секретными комитетами и комиссиями был в огромном большинстве верным пособником королевской полиции. Если билль о казни рабочих, против которого выступил Байрон в 1812 году, был временно задержан, то в 1814 году он прошел без затруднений.

В 1811 году Байрон еще до своего первого парламентского выступления написал ответ двум лордам, требовавшим смертной казни рабочим:

Лорд Эльдон, прекрасно; лорд Райдер, чудесно!
Британия с вами как раз процветет.
И Гоксбери с Горроби правят совместно.
Лекарство поможет, но раньше — убьет.

Ткачи-негодяи готовят восстанье:
О помощи просят. Пред каждым крыльцом
Повесить у фабрик их всех в назиданье!
Ошибку исправить и — дело с концом.
В нужде, негодяи, сидят без полушки,
А пес, голодая, на кражу пойдет.
Их вздернув за то, что сломали катушки, —
Правительство деньги и хлеб сбережет.
Ребенка скорее создать, чем машину,
Чулки — драгоценнее жизни людской,

И виселиц ряд оживляет картину,
Свободы расцвет знаменуя собой.

Идут волонтеры, идут гренадеры,
Полков двадцать два — на мятежных ткачей,
Полицией все принимаются меры,
Двумя мировыми, толпой палачей.
Из лордов не всякий отстаивал пули,
О судьях взывали. Потраченный труд!
Согласья они не нашли в Ливерпуле,
Ткачам осуждение вынес не суд.

Не странно ль, что если является в гости
К нам голод, и слышится вопль, бедняка, —
За ломку машины ломаются кости,
И ценятся жизни дешевле чулка?
А если так было — то многие спросят:
Сперва не безумцам ли шею свернуть,
Которые людям, что помощи просят, —
Лишь петлю на шее спешат затянуть?{«Morning Chronicle».}

Это стихотворение было напечатано тогда же, без имени автора. Теперь оно было переписано и в тысяче списков ходило по рукам.

Политические выступления Байрона вступали во все более резкое противоречие с его собственными житейскими намерениями, и это не могло не повлечь за собой нового разлада с обществом накануне такого значительного шага, каким являлось намерение Байрона жениться в Лондоне, т. е наиболее тесно связаться с целым рядом неприятных бытовых явлений английской жизни. Байрону казалось, что он, повторяя свое предложение Анабелле Мильбенк, находит «милого вожатого» и в этом очень гармоническом существе будет иметь зеркало своих собственных лучших свойств без своих пороков. Он очень мало считался с теми неизбежными свойствами лицемерия и ханжества, бытовых предрассудков, которые характеризовали идиотически тихую, неподвижную, самодовольную английскую семью. Он не хотел считаться с целым рядом условностей, отличавших общество, с которым он был связан своим рождением и с которым намерен был связать свою будущую жизнь.

Насколько смело нарушал он эти условности, видно из следующего факта: публицист и поэт Ли Хент и его брат Данон

Хент, издатель журнала «Икземинер», занимались на страницах своего журнала тем, что преподносили населению Англии перевод на общепонятный простонародный язык милой и старой Англии трудно понимаемые статьи газеты «Морнинг Пост», в которых продажное перо в лакейско-прихлебательском тоне писало статьи, посвященные принцу-регенту и реакционной политике Англии. Первоначально операции Ли Хента с этими статьями не внушали никаких подозрений, но чем дальше, тем больше внимание Лондона к этим статьям раскрывало глаза правительству Англии на пародийное значение статей Ли Хента. Ли Хент превращал хвалебные статьи регенту в такую нелепую и глупую шумиху, которая делала самый предмет похвал карикатурой. Похвалы целомудрию регента, его трезвости, его деловому образу жизни, его заботам о гражданах Сити вызывали хохот читателей. Ли Хент не довольствовался простым усилением хвалебных характеристик, он вносил в статьи «Морнинг Пост» комментаторские вставки, которые были диаметрально противоположны самому смыслу утверждения этой газеты, или, пользуясь информацией «Морнинг Пост», Ли Хент приводил иллюстрации, которыми широко оповещал население Англии о реальном значении политики королевского правительства и секретных комитетов обеих палат. Последний номер «Икземинера» был конфискован за хвалебную оду принцу-регенту. Ли Хент попал под действие закона об оскорблении величества, и суд приговорил его к двухгодичному тюремному заключению. Байрон внимательно следил за английской прессой тогдашнего времени и отлично усвоил направление журнала Ли Хента, а когда издатель попал в тюрьму, Байрон, словно бросая вызов обществу большого света, несколько раз навещал поэта Ли Хента в тюрьме. Мало того, он демонстрировал свою симпатию к журналисту, т. е. к человеку «не из общества» и вдобавок журналисту, сидящему в тюрьме за оскорбление величества. Не желая воспользоваться чужой фамилией, Байрон имел дерзость получать внеочередной пропуск в тюрьму как член палаты лордов.

Все это стало известным, все это не могло не вызвать недовольства среди аристократического общества. Но система английского недовольства такова, что сказывается не сразу, а если сказывается, то не способом прямого выражения и не как следствие, вытекающее из причины, известной человеку, который испытывает кару недовольного правительства.

К этому времени относится еще более острое, сатирическое проявление ненависти Байрона к королю Георгу.

Опубликованное через пять лет после написания, это

стихотворение нисколько не утратило своего политического значения. Документ этот полностью называется так:

«Стихи, написанные на случай, когда автор видел его королевское высочество принца-регента стоящим между гробницами Генриха VIII и Карла I в королевском склепе, в Виндзоре».

Священных уз попранием суровым
Известные, в гробницах здесь лежат
Бездушный Генрих с Карлом Безголовым.
Меж ними видит третьего мой взгляд:
Он жив, царит, вершит свои желанья, —
Во всем король он, кроме лишь названья.
Карл для народа, Генрих для жены
Тираном был, а в нем воскрешены
Те два тирана вместе: Смерть и Право
Напрасно в нем свой прах смешали, право!
Два царственных вампира, с'единясь,
Восстали вновь, и царствует их сила;
Бессильна смерть: извергла нам могила
Опять в лице Георга кровь и грязь.

В 1813 году появились новые произведения Байрона: поэмы «Гяур» и «Невеста из Абидоса». Через год вышли поэмы «Корсар» и «Лара».

Разрывая с мирной традицией «Чайльд Гарольда», Байрон теперь воспевает разбойника. Он трагически освещает центральную фигуру поэмы «Гяур», он завязывает узлы таинственных психологических сплетений героя, он заинтриговывает читателя поисками мотива глубоких страданий этой человеческой личности. Историки литературы дают всевозможные генетические толкования этой поэмы. Некоторые пытаются тему «великодушного разбойника» возвести к старой литературе профессиональных сказочников. Будто бы уже во времена римского императора Тевтиния Севера существовал прообраз байроновского Гяура в виде героя «Повести о разбойнике Феликсе». Исследователи могут найти немало остроумных догадок о том, что разбойники александрийского романа предвосхитили байроновского героя, или о том, что примирившиеся рыцари легенды «О круглом столе и короле Артуре», Валентин из «Двух Гаронцев» Шекспира, старый герой Шервудского леса Робин Гуд, а может быть даже и новая редакция «Робин Гуда» в виде «Нэда Лудда», наконец Карл Моор Шиллера и Гец фон Берлихинген Гете, — все благородные разбойники

проложили дорогу байроновскому Гяуру-разбойнику и великодушному добровольному отверженцу человеческого общества. Во всяком случае необходимо установить одно, — что Байрон не занимался такими большими поисками и разбойник Феликс, времен римских императоров был ему неизвестен. Но ему была известна английская действительность, и сам он все больше и больше с ней ссорился. Не имея возможности ее преодолеть, он мужественно не хотел сдаваться и капитулировать. Одиночный бунт превращался в грустное сознание своей оторванности; отсюда мировая скорбь, побег от человеческого общества на лоно пустынной прекрасной природы, в чужие страны, хотя и там он не находил покоя. Однажды он писал: «Второго июля будет год, как мы покинули Альбион. Мне надоела моя родина, но я не нахожу страны, которую мог бы ей предпочесть. Я „влачу свои цепи“, не удлиняя их при каждом переходе. Я похож на того веселого мельника, который никого не любит и никем не любим. Для меня все страны одинаковы».

Этими чертами характеризуется герой новой байроновской поэмы. Но к этим чертам Байрон прибавил полную и бесповоротную отверженность и глубокий пессимизм. Единственным просветом в жизни Гяура была любовь к мусульманке, попавшей в рабство и казненной своим господином. Поэма рассказывает о мести Гяура, но не вскрывает полностью его характер и не рассказывает читателю о том, кто же сам этот Гяур. Едва успела появиться эта поэма, как к обычной светской болтливости присоединились не совсем обычные настойчивые слухи о том, что «Гяур» — автобиографическая поэма в гораздо большей степени, чем «Чайльд Гарольд». Там, где простой читатель восхитился бы полнозвучной музыкой пленительного байроновского стиха, там, словно по специальному заданию, началось с пристрастием чтение между строк. Слова Байрона:

Старик, ты смотришь на меня,
Как будто хищный коршун я.
Да, путь кровавый преступленья
И я прошел, как коршун злой…

были истолкованы как автобиографическая исповедь, а предисловие к «Гяуру», по существу совершенно невинное, породило злобную лондонскую сплетню. Злобную в силу полной своей неопределенности, позволявшей допускать любые истолкования.

Таким образом, к огромному успеху «Чайльд Гарольда», создавшему Байрону славу, теперь искусственно примешивали

такое ядовитое, отравляющее любопытство, которое можно было об'яснить только ссорой автора с господствующей частью общества и злостной интригой довольно могущественного человека из правительственных сфер. С момента выхода в свет «Гяура» Байрон уже не мог избавиться от топота: «кто может поручиться, что эти вещи не случились с Байроном во время путешествия по Востоку?» И если романтический ореол производил впечатление на лондонских красавиц, то вместе с тем в набожных английских семьях и в правительственных кругах создалось предубеждение против автора. Байрон вынужден был писать дополнительные об'яснения к поэме хотя бы тем друзьям, которые были связаны с благожелательной славой поэта, в том числе поэту Роджерсу, которому поэма была посвящена, и Томасу Муру, на помощь которого он рассчитывал.

Следом за «Гяуром» появилась «Невеста из Абидоса». Поэма первоначально носила наименование «Зулейка». Абид, или Абидос, — это старый греческий город на азиатском берегу, в самой узкой части Геллеспонта. Против Абидоса на другом берегу возвышаются здания другого греческого города — Сеста. К этим местам старинной греческой территории приурочена история мифической любви Леандра и красавицы Геро. История двух молодых сердец, разлученных не только морской стихией, пленила Байрона. Свидания на другом берегу, затрудненные волнами широкого пролива, гибель Леандра, пренебрегшего опасностью и в бурю переплывавшего пролив, смерть Геро, не вынесшей тревоги и разлуки, — вот элементы древнего мифа о любви, преодолевающей препятствия. Уже Овидий в поэмах «Герои и героини» дал обработку этого греческого сказания; потом в VI столетии нашей эры, в так называемый «Железный век» классической литературы, поэт Мусей заново дал обработку сюжета разлученных любовников. И до и после Байрона европейская поэзия не раз возвращалась не только к сюжету, но даже к именам Геро и Леандра.

Байрон переживал творческую лихорадку. В четыре ночи закончил он первый набросок поэмы, а через две недели дал ее окончательную редакцию. Греческая Геро превратилась в красавицу Зулейку. Леандр превратился в Селима. Гжаффир-паша напоминает Али-Янинского пашу. Гжаффир-паша воспитывает племянника Селима, сына своего брата, убитого рукой Гжаффира, и не знает, что Селим является братом его собственной дочери Зулейки. На этой коллизии завязывается сюжетный узел байроновской поэмы, осложняющий старинный миф о Геро и Леандре. Если «Чайльд Гарольд» как целое произведение совершенно лишен сюжета, завязки и развязки, если «Гяур»

обладает этими формальными качествами в незначительной степени и колоритная мощь Востока, так хорошо передаваемая Байроном, искупает, с точки зрения читателя, сюжетную неопределенность «Гяура», то в «Невесте из Абидоса» мы видим начало нового творческого пути Байрона. Сюжетные контуры выступают здесь резче и, несмотря на лихорадочную поспешность доработки, это новое произведение Байрона построено, с точки зрения композиции и сюжета, гораздо полнее, чем предшествующие.

«Невеста из Абидоса» опять вызвала неожиданное внимание к личной жизни Байрона. Словно выполняя чье-то задание, английская критика и публика великосветских гостиных выискивала в каждой детали указания на подлинные происшествия жизни Байрона. На этот раз предприятие оказалось безуспешным, разве только одно совпадение могло обрадовать смелых комментаторов, любителей читать между строк. Из писем Байрона 1810 года известно, что он сам по примеру Леандра переплывал Геллеспонт. Байрон был одним из лучших пловцов мира. Венецианские кузнецы на Лидо по воспоминаниям дедов рассказывали, что в Венеции жил англичанин-рыба, который часто переплывал с набережной Скиавано на Лидо, — это добрых два часа на поверхности воды. Вот единственное автобиографическое совпадение с «Невестой из Абидоса».

Личная жизнь Байрона в этот период была полна перемежающихся смятений и тревог. Барометр европейской политической погоды страдал от чрезвычайно резких перемен. Газеты приносили известия о крушении наполеоновского похода в Россию, о потрясающих событиях на других театрах войны. Злорадство английских газет, боязнь революционных идей, биржевые судороги, крушение рынков — все это неслось в каком-то страшном урагане событий, словно жизнь вступила в такую полосу, где трансформируются вчерашние формы. И действительно, мировой экономический кризис 1811 года уносил ежедневно тысячи жертв, и если английские суконщики-предприниматели иногда богатели, то только потому, что они брались поставлять обмундирование войскам Наполеона, находящимся в войне с Англией. Эти предприниматели не пострадали. Не было случая, чтобы между 1805 и 1825 годами в парламенте стоял запрос об этом явном предательстве.

Характерным проявлением тревоги Байрона были его повторные стремления уехать из Англии. В перерыве между окончанием одного произведения и началом другого Байрон все больше и больше метался и одно время серьезно решился навсегда уехать в Россию. Что тянуло его в эту страну? Какие

свойства природы, политики, культуры могли нравиться Байрону в тогдашней Российской империи? На это мы не находим ответа, но несомненно, что крах Наполеона сделал для Байрона интересной Россию «как страну неограниченных возможностей». Но одновременно, очевидно, поэту хотелось ограничить собственные возможности. Он боялся своей свободы все больше и больше и потому момент возобновления переписки по почину Анабеллы Мильбенк он приветствовал с неожиданной для себя горячностью. Переписка приобретала все более и более дружеский характер.

Мисс Мильбенк, — дочь баронета Ральфа Мильбенк, довольно богатого человека, воспитывалась в набожной, очень лицемерной семье и все усилия воли направила к тому, чтобы усвоить себе идеалы старосветских помещиков — ханжеской и консервативной касты. Мисс Мильбенк старательно училась и, без критики воспринимая все правила английской морали, стремилась следовать им с таким же упорством, с каким она изучала математику, греческий язык, с каким писала стихи на библейские темы, почитала родителей, любила короля, была набожной христианкой без фанатизма, нарушающего правила хорошего тона. Вся молодость этой женщины прошла по дороге, проторенной дедами и родителями. Украшенная прилежанием в науках, вниманием к родителям и примерным поведением, она очень рано стала образцом для девушек своего круга. Родители, осчастливленные этим «полевым цветком», как они называли дочь, вряд ли могли заметить, как в этом педагогическом изделии «добродетельная» воля опресняет, гасит и стискивает до омертвения те естественные колебания чувств, воли и характера, которые возникают у любого человека при первых его конфликтах с противоречивой действительностью. Те формулы социальной и индивидуальной морали, которые являлись маскировкой англичан тогдашнего века, позволявших себе многое, лишь бы это многое было шито и крыто, были восприняты дочерью баронета Ральфа не как условные, а как обязательные установления. Мисс Мильбенк хорошо говорила и писала. Она без малейших колебаний считала английскую действительность за единственно возможную. С изящной покорностью она принимала установленные богом и королем формы жизни и механически повторяла сотни и тысячи красивых вычитанных мыслей.

Байрон не чувствовал никакого скрипения в этом прекрасном человеческом механизме, который в письмах пленял его красивыми фразами, логически ясными мыслями, наивной чистотой чувств, — одним словом, таким количеством совершенств, что автор «Чайльд Гарольда» начал серьезно верить

в спасительность своего союза с Анабеллой Мильбенк. Мисс Анабелла вряд ли хорошо знала сама себя. Где-нибудь во Франции юная буржуазка, воспитанная в монастыре, так же долго носит в себе покорность словесным формулам морали, но, сбитая своим темпераментом и житейскими соблазнами, она быстро идет по пути собственных влечений, оставляя нетронутой всю фальшивую словесность монастырских нравоучений. Кокотка уживается с пиэтисткой. Католичка с куртизанкой. В Англии такая девушка, как Анабелла Мильбенк, не на словах, а на деле сумела до времени погасить вспышки своего характера до полного омертвения каких бы то ни было побуждений, сумела овладеть игрой своих нервов, умертвить всякие признаки темперамента и целиком отдаться построению ловушки для будущего супруга. Поступки Анабеллы Мильбенк, продиктованные заурядными мещанскими побуждениями, для нее самой имели вид самоотверженного спасения погибающего поэта. Скромность, столь характерная для Анабеллы, превращала ее в девушку, похожую на компаньонку старой аристократки, на культурную Гувернантку герцогских детей, среди достоинств которой блистают такие редкие звезды женских добродетелей, как метафизика, подтверждающая истины религии, и математика, делающая ненужным домашнего счетовода или управляющего имением. Тихим благоразумием ясности и безмятежностью взгляда, как заманчивыми контрастами с собственным характером Байрона, она приковала внимание поэта.

Стоя на перепутье между карьерой бурного парламентского борца и дорогой поэта, Байрон и в том и в другом случае стремился к союзу с мисс Мильбенк, ослепленный надеждой найти в этом кротком и безбурном характере «ангела-хранителя». Байрон вместо ангела-хранителя увидел человека, полного глухого и жестокого сопротивления. Математика, метафизика, цитаты греческих поэтов и красоты женского стихотворства — все «полетело к чорту». Перед Байроном оказалась глухая каменная стена, которая все больше и больше принимала форму стены тюремной или комнаты дома умалишенных. Вся обширная переписка Байрона с мисс Мильбенк свидетельствует, до какой степени Байрон не понимал характера своей будущей жены. Вот, например, что он писал 29 ноября 1813 года.

«Никто не может воображать о себе меньше, чем вы, и быть менее самонадеянной, хотя очень немногие из моих знакомых обладают и частью оснований, дающих вам право на „превосходство“, которое вы так боитесь выказать. И я не могу припомнить ни одного выражения, употребленного вами за время нашей переписки, которое в каком-либо отношении уменьшило

бы мое мнение о ваших дарованиях и мое уважение к вашим нравственным достоинствам. Вы очень несправедливы к себе, полагая, что „очарование“ разрушено нашим более близким знакомством. Наоборот, именно это общение убеждает меня в ценности того, что я потерял, или, вернее, чего я никогда не находил.

…Есть слух, что к вашему списку непринятых присоединился еще один, и мне его жаль, так как я знаю, что у него есть дарования, а его родословная может служить ручательством его остроумия и хорошего расположения духа. Вы производите прискорбное опустошение среди „нас, молодежи“. Хорошо, что в такое убийственное время — к тому же сейчас ноябрь — м-м де Сталь уже опубликовала свое средство против самоубийства. Я не читал его из боязни, как бы любовь к противоречию не заставила меня на деле опровергнуть то, что она утверждает».

В марте 1814 года Байрон делает заметку, за полгода до второго предложения: «Получил письмо от Беллы, Я на него не ответил. *Я опять влюблюсь в нее, если не буду держать себя в руках*». Из дальнейших писем становится очевидным, что «держать себя в руках» становилось все труднее и труднее.

События мировой истории развертывались, как гигантская трагическая панорама. Миллионы солдатских сапог истоптали Европу. Сожженные посевы, разрушенные города и ни одной семьи без потерь. Границы государств, перебегающие, как живые змеи, меняющие очертания гигантских населенных площадей, англо-американская война, которую англичане окрестили «братоубийственной», и страшный склеп, — мертвый и сумрачный, — склеп политической реакции сузил горизонты человеческой мысли и человеческих стремлений до пределов подземной тюрьмы. Падение Наполеона не принесло с собой возвышения фунта стерлингов, а огромные тюки фальшивых ассигнаций французских, русских и всяких других, которыми Англия наводнила европейские рынки, внезапно стали наводнять коридоры английского банка. Общество Лондона в эти годы испытывало минуты, часы, недели и месяцы судорожного безумия, когда кары и репрессарии сыпались на головы беднейшего населения и все резче обозначалась теневая черта между дворцами пэров Англии и коттеджами разбогатевших военных поставщиков, с одной стороны, и лондонскими трущобами, где в притонах и подвалах десятками тысяч гибло молодое поколение английской бедноты — с другой.

Байрон не принадлежал к числу отвлеченных поэтов, наоборот, он обладал той степенью полной восприимчивости жизни, которая является обязательным свойством гения, и

кажущиеся мотивы отхода от английской действительности в тех произведениях, которые характеризуют лондонский период творчества Байрона, на самом деле только подтверждают то обстоятельство, что Байрон эту действительность знал и чувствовал ее остро, Отсюда усиленные поиски не только новой житейской дороги, но и новых творческих путей.

В январе 1814 года вышел в свет новый шедевр Байрона — поэма «Корсар». В предисловии автор пишет о себе в третьем лице: «Корсар явился в свет в 1814 году, а написан автором в минувшем декабре в течение двух недель. Поэт писал с увлечением и внес в свое творение очень многое из жизни».

Не так легко понять эту неопределенную фразу, но когда первое издание разошлось к вечеру того же дня, как только появилось в магазине, то немедленно вышло второе, в котором действительно отразилось нечто «внесенное из жизни». Это было открытое повторение восьми строчек, посвященных «Плачущей девушке».

Удар был настолько точен, что 18 февраля 1814 года Байрон записал в дневнике: «С газетами сделалась истерика, а город пришел в неистовство от моего признания авторства и от перепечатки восьмистрочного моего стихотворения».

Действительно, не было ни одной газеты, которая тоном более или менее резкого осуждения не отмежевалась бы от дерзкого поэта. Байрона обвиняли в государственной измене. Подкупленная журналистика и добровольно раболепная пресса, как по сигналу, в один голос ругали поэта. В журналах появились пародии на байроновские поэмы, поэт был развенчан, и травля началась. Был пущен слух о парламентском запросе, слух неосновательный, ибо всем было ясно, что нельзя запрашивать о стихах Байрона, не затрагивая скандального происшествия во дворце.

«И все это из-за толю, — писал Байрон, — что сливочный пирожок оказался с перцем, как говорит Бардедин в сказках Шехерезады. Разве я не чудотворец, если всего только восемь моих маленьких строчек породили восемь тысяч газетных статей!»

Поиски примирения. Женитьба

Несколько слов из дневника Байрона, написанных после известий об отречении Наполеона:

«19 апреля 1814 года.

…Я не буду больше вести дневников, но чтобы воздержаться от возврата к этим воспоминаниям, я вырываю оставшиеся белые листы этой тетради. Я пишу…

…Бурбоны возвращены. Долой разум. Я долго презирал себя и людей, но никогда еще это презрение не доходило до той степени, как сейчас: я плюю в лицо всем моим собратиям по планете. О, дурак, я сойду с ума!»

Этими яростными строчками действительно кончался большой период жизни Байрона. Возвращение Бурбонов вызвало в нем смятение и напряженную ярость.

Политика «священного союза», об'явившего восстановление «законных» властей, охрану монархического и религиозного принципов в Европе, восстановление церковного и политического авторитета дореволюционного мира, а в качестве программы и тактики — уничтожение не только революционных, но и просто либеральных идей, истребление очагов заразы повсеместно, — все это было декларативным закреплением крутого поворота в сторону сумрачной и мертвой реакции, охватившей Европу.

Каково было отношение Байрона к фигуре Наполеона? При ответе на этот вопрос биографы имеют обыкновение примешивать к суб'ективным байроновским оценкам элементы его зависимости от шовинистической аристократии. Надо сказать, что в такой многогранной душевной организации, какой обладал Байрон, в разные периоды отношения его к Наполеону приобретали разную эмоциональную окраску. Но основная оценка Наполеона как тиранической и деспотической фигуры у Байрона была резко отрицательной. «Ода к Наполеону», написанная при известии о низвержении императора, свидетельствует об этом с непререкаемой ясностью. Приводим заключительные строфы этой оды{В переводе В. Брюсова.}.

Но низкой жаждой самовластья
Твоя душа была полна.
Ты думал: на вершину счастья
Взнесут пустые имена!
Где ж пурпур твой, поблекший ныне?
Где мишура твоей гордыни:
Султаны, ленты, ордена?

Ребенок бедный! жертва славы!
Скажи, где все твои забавы?

Но есть ли меж великих века,
На ком покоить можно взгляд,
Кто высит имя человека,
Пред кем клеветники молчат?
Да, есть! Он — первый, он — единый!
И зависть чтит твои седины,
Американский Цинцинат!
Позор для племени земного,
Что Вашингтона нет другого!

Не надо забывать, что незадолго перед этим закончилась англо-американская война за независимость Соединенных штатов. «Колония отпала от метрополии» и почувствовала себя гораздо менее великобританской, чем даже любая область Германии. Мы приводим эти сообщения только для доказательства того, что оценка Наполеона у Байрона исходила вовсе не из шовинистического злорадства английского штаба противобонапартовских коалиций, ибо восхищение Вашингтоном и американской демократией для английского лорда тогдашнего времени было не только явлением антипатриотическим, но и небывалым по дерзости.

Наполеон попал в пасть к англичанам, и от его прежнего высокомерия не осталось и следа. «Ваше королевское высочество, — писал он принцу-регенту, — я — жертва борьбы партий, раздирающих мою страну, я — жертва вражды великих держав Европы, я бесповоротно расстаюсь со своей политической карьерой. Подобно Фемистоклу, устремившемуся на свет очага, я прибегу к очагу народа Британии. Я бросаюсь под защиту законов вашей страны. Я прошу, чтобы защитили меня вы, ваше королевское высочество, как самый могущественный, самый стойкий и самый благородный из моих врагов».

Это письмо, конечно, не могло вызвать симпатий Байрона, но еще менее вызывали в нем симпатию торжествующие стихи Томсона после того как Наполеон, бежавший с Эльбы, был разбит в битве при Ватерлоо, а французские банкиры отказали разбитому императору в миллионах на новый набор войск.

В стиле старого народного гимна Томсон писал:

«Когда по слову творца и зиждителя миров Англия возникла в утренней заре из лазурных вод океана, ангелы-хранители этой страны огласили воздух хоралом: „Царствуй, Англия!“ Будь

царицей океанских вод, вовеки веков англичане будут выше других наций, и народы мира всегда покорно пойдут под игом твоей власти. Великобритания, будь великой страной! Да всколосятся твои нивы, зазеленеют твои луга, да процветет богатая торговля со звоном золота в банках и торговлях твоих городов».

Однако и этот сливочный пирожок оказался с перцем. Наполеон нанес огромный ущерб английской торговле, и надежды английских предпринимателей на немедленный результат падения Наполеона оказались преждевременными. Использовав период блокады, английские конкуренты в достаточной степени укрепили свою торговлю на прежних английских рынках. Общая атмосфера Англии была напряженной, так как, несмотря на все надежды английской буржуазии и английского крупнейшего землевладения, взрыв пауперизма становился грозным фактором. Парламентская борьба была напряжена: *виги* представляли интересы промышленной буржуазии, торговли и наиболее стойких представителей мелкой буржуазии. Они выступали сторонниками мира и внутренней уравнительной политики, в то время как *тори*, лидеры которых были закоренелыми врагами не только идей французской революции, но даже элементарного буржуазного либерализма, выступили с новой программой истребления в зародыше каких бы то ни было очагов социальной реформы. Будучи представителями крупнейшей земельной аристократии, они оказывались в полной зависимости от барышей хлебной торговли. Наступивший год был годом ожесточенной борьбы по вопросу о свободной торговле хлебом. В годы наполеоновских войн на всей территории Европы стояли чрезвычайно высокие хлебные цены. Наполеоновская блокада повысила эти цены на территории Англии. Падение Наполеона и появление иностранного хлеба на английском рынке грозило ториям разорением. Они провели закон, облагавший иностранный хлеб крупнейшей пошлиной, и наконец добились запрещения хлебного импорта, если цена английского хлеба будет ниже во шиллингов за четверть, т. е. 36 франков за гектолитр!

Но внутрипарламентская борьба никак не затрагивала интересов масс населения. Вот почему в продолжение четырех месяцев 1816 года не переставали поступать в адрес палаты общин петиции с сотнями тысяч подписей, требовавшие устранить злоупотребления самого парламента с продажей хлеба. Чрезвычайно характерна петиция Лондонской корпорации. Она прямо пишет: «Злоупотребления являются следствием того, что вы, господа члены парламента, в огромном большинстве

продажны и доступны подкупу. Будучи продажными, господа члены парламента незаконно получили депутатские места в палате общин, и посему нынешний состав парламента никак не может считаться представляющим действительные интересы населения Соединенного королевства. Нет правильной системы выборов, а посему достодолжный контроль над слугами короны не может быть осуществлен, в особенности в нынешний год, когда палата общин заняла положение прислуги у министерства».

Уже за год перед этим в Лондоне и в крупных городах Англии были произведены обыски и тайные аресты. Были найдены трехцветные знамена французской революции, склады оружия. Протоколы отмечают в числе опасных находок стихотворения Байрона, написанные на политические темы.

Помимо прямых указаний, полученных из этих стихов, английская тайная полиция имела широкую возможность ознакомиться с политическими воззрениями Байрона и другим способом. Во всех политических клубах Англии были провокаторы и шпионы. В один из Спенсианских клубов, названных по имени Томаса Спенса, автора «Социальной утопии», вошел некий Кестель, сразу привлекший к себе симпатии английских клубменов необыкновенной широтой своих политических взглядов, смелой антиправительственной агитацией, ироническими отзывами о принце-регенте и министрах. Он оказался шпионом секретного правительственного кабинета. В течение двух лет он с легкостью произвел регистрацию всех мыслителей и деятелей Англии, настроенных критически, собрал не только печатные революционные листки, не только стихи Байрона, ходившие в рукописных копиях, но и сам выступил в качестве автора антиправительственных прокламаций. Ему принадлежит идея и осуществление кровавой уличной перестрелки 1816 года; эта провокация Кестеля была раскрыта, после чего он скрылся.

10 апреля Байрон записал в дневнике: «Сегодня целый час занимался боксом; потом написал „Оду к Наполеону“.» Прошло несколько дней. Байрон писал своему издателю Меррею: «Лучше не ставить моего имени на нашей „Оде“». — Это не помогло. Аноним Байрона был разоблачен немедленно, и Томас Мур, незадолго перед этим получивший письмо Байрона о том, что поэт навсегда порывает с литературной деятельностью, написал письмо Байрону: «Удалось ли вам видеть „Оду к Наполеону Бонапарту“? Я подозреваю, что ее сочинили: или Фитц Джеральд или Розметильд. Эти могучие артистические изображения всех тиранов, предшественников Наполеона, заставляют меня признать автором Розметильда, но с другой стороны — откуда

этакое мощное разумение истории? Желаю знать, что; вы об этом думаете, ибо есть у меня друзья, настойчиво утверждающие, что это *сочинение* принадлежит перу известного автора „Странствований Чайльд Гарольда“. Это, конечно, заблуждение, они меньше меня начитаны в творениях и Джеральда и Розметильда, а кроме того они, видимо, позабыли, что вы два месяца тому назад поклялись ничего больше не писать много лет».

Простой список членов кассы взаимопомощи, найденный у рабочего, немедленно влек его к суду. А что такое представляли собой тогдашние суды Англии, мы видим из слов радикала Френсиса Плеса, который был не только предпринимателем либерального пошиба, но и другом одного из крупнейших утопических социалистов — Роберта Оуэна. Плес говорит: «Если б можно было представить точный отчет о нынешних судебных процессах, то никто не поверил бы в возможность таких грубых несправедливостей, таких тяжелых издевательств над рабочим и таких диких зверских наказаний. Когда рабочий судится за организацию рабочего союза, то как бы ни было тяжело его положение, его осуждают. Не было случая, чтобы судья выслушивал рабочих без оскорблений и без выражений нетерпения. Не знаю ни одного случая, когда их разумные показания сопровождались бы человеческими разумными приговорами суда».

Но когда в руки полиции попадает стихотворение, написанное лордом, то в силу специальных английских законов, ограждающих произвол аристократической касты, нельзя было вызвать Байрона в камеру обыкновенного судьи. А между тем эта каста была оскорблена Байроном. Байрона необходимо было покарать. Безмолвным и тайным кастовым судом судили взбунтовавшегося лорда, вынесли молчаливый приговор и, как увидим дальше, привели его в исполнение без каких бы то ни было юридических формулировок.

Почва для этого была подготовлена. Мы уже привели факты, говорящие о некотором внутреннем смятении Байрона. Его желание то уехать в долгое плавание на корабле «Бойн», то отправиться в Россию, то бросить литературную работу — все это указывало на развитие пессимистического мироощущения. В это время как раз оживилась его переписка с мисс Мильбенк. Совершенно несомненно, что Байрон не понимал настоящего смысла этой переписки. Он не видел, что становится об'ектом упражнения в христианских подвигах молодой английской пиэтистки. Она читала его произведения, его письма, а родители тем временем собирали сведения о поэте. Мисс Мильбенк видела

в Байроне ту «жертву греха», которую она может очень красиво и выгодно для себя спасти, и поэтому, найдя удобный момент, она указала Байрону на прекрасный источник утоления душевных печалей — религию. Будущий супруг ответил мисс Анабелле следующее: «Я вам очень благодарен за ваше указание на религию, но должен вам сказать, даже рискуя лишиться того хорошего мнения, которое, по-видимому, вы составили в силу доброты вашего сердца, что религия — это именно тот самый источник, из которого я *никогда* не черпал утешения, и думаю, что никогда не буду в состоянии этого сделать. Если были минуты, когда я чувствовал то, что вы назвали бы благоговением, то это случалось совсем не по религиозным поводам, а только в тех случаях, когда я неожиданно соприкасался с прекрасными явлениями жизни без всяких своих заслуг. Я тогда действительно испытывал чувство благодарности, но только не к богу и не к людям. С другой стороны — в болезнях и в неудачах я философствую в меру сил, не заглядывая в потустороннее, а просто из желания, чтобы болезнь или несчастия кончились. Я совсем не знаю, зачем я пришел в этот мир. Бесполезно спрашивать, куда исчезает человек. Среди миллиардов живых и мертвых миров, звезд, систем смешно беспокоиться об одном атоме».

Не прошло полугода, как желанное событие совершилось, несмотря на «вселенские недомолвки». По крайней мере 20 сентября 1814 года Байрон писал Томасу Муру:

«Дорогой Мур! Я женюсь, т. е мое предложение принято, а остальное последует, как обыкновенно… Мисс Мильбенк — имя а той леди, и я получил от ее отца приглашение приехать в качестве жениха, чего, однако, я не могу сделать, прежде чем не улажу кое-каких дел в Лондоне и не обзаведусь синим фраком.

Говорят, она наследница, но чего — право, не знаю, наверное и не буду справляться. Но я знаю, что у нее есть талант и превосходные качества; и вы не станете отрицать за нею рассудительности, так как она отказала шестерым искателям и приняла мое предложение.

Если вы имеете что-либо сказать против, — пожалуйста, говорите; мое решение обдумано, выбор сделан, дело решено, и потому я могу прислушиваться к доводам, так как теперь они не причинят вреда. Разумеется, я должен вполне исправиться; и, серьезно, если я могу способствовать ее счастию, то мое будет обеспечено. Она так хороша, что… что… короче, я хотел бы быть лучшим».

Уцелело письмо Байрона к неизвестной, а через четырнадцать дней Байрон, как бы проверяя себя, пишет письмо Ходжсону. Оба

письма чрезвычайно показательны *для-* периода перелома, определившего собой водораздел байроновской биографии:

«5/X— 1814.

Дорогая леди! Вашей памятью и приглашением вы оказываете мне большую честь, но я „собираюсь жениться и не могу приехать“. Моя нареченная находится за двести миль отсюда и, как только я устрою свои дела, мне придется спешно выехать, чтобы стать счастливым. Мисс Мильбенк — та добрая особа, которая взяла меня *на свое Попечение, и я, конечно, сильно влюблен в нее, и не менее глуп, чем бывают обычно все холостые мужчины в этом сентиментальном положении.

Вы, может быть, знаете эту девушку? Она приходится племянницей леди. Мельбурн, кузиной леди Купер и другим вашим знакомым. У нее только один недостаток — она слишком хороша для меня, но этот дефект я принужден простить ей, даже если другие не простили бы. Все это могло произойти два года назад — и тогда я был бы избавлен от множества неприятностей. Она воспользовалась этим временем, чтобы отказать полдюжине моих близких друзей (подобно тому, как она, между прочим, сделала и со мной когда-то), и наконец „взяла меня“, за что я ей очень благодарен. Мне хочется, чтобы все кончилось скорее, потому что я ненавижу суету, а несуетливой свадьбы не бывает. Кроме того, говорят, что нельзя венчаться в черном фраке, а синих я не выношу.

Пожалуйста, простите меня за то, что я нацарапал вам весь этот вздор. Ведь мне придется быть серьезным *в* течение всей моей последующей жизни, и это моя прощальная шутовская выходка, которую я пишу со слезами на глазах, в ожидании предстоящих волнений. Верьте, что я серьезно и искренно ваш покорный слуга.

Байрон».

«19/X—1814.

Дорогой Ходжсон! Она все-таки будет леди Байрон, как только позволят юристы и прочие деловые люди. Об этом долго рассказывать, и я это сделаю потом; во всяком случае я ее совсем не понял. Она любила меня в течение довольно долгого времени и, как оказывается, никакого „Другого“ увлечения не было. Мы оба думали, что мы разлучены и что между нами — препятствия, которые, однако, оказались мнимыми. Она считала, что я никогда не повторю своего предложения и пыталась возбудить в себе склонность к другому (*это ее собственное об'яснение*); но их встреча вывела ее из заблуждения, а наши недоразумения оказались следствием той естественной сдержанности, которая возникает между людьми в таких обстоятельствах, в какие, как

нам казалось, были поставлены мы. Прошел месяц или более с тех пор, как было принято мое предложение, но я задерживаюсь здесь по делу. Как только м-р Гансон поедет в Дерем, через неделю, а то и менее, я буду готов — да и теперь я уже готов — последовать за ним. Отец, мать и все родные мои и ее относятся ко всему этому очень благосклонно. Я люблю ее и надеюсь, что она будет счастлива.

Всегда искренно ваш Б.»

Однако уже и в это время, в октябре 1814 года, зловещие сомнения посетили Байрона в самые отрадные Минуты его жизни. Вот его письмо к невесте от 16 октября 1814 года.

«Разбирая бумаги, я нашел первое из писем ваших ко мне; перечел снова. Вы согласитесь, что дело обстояло неважно и надежд впереди было мало; но я могу простить, — не то слово, я хочу сказать — я могу забыть даже свойство ваших тогдашних чувств, если вы не обманываете себя теперь. К этому-то вашему письму я всегда возвращался, оно стояло передо мною во всей моей дальнейшей переписке; а теперь говорю ему „прости“, — и все же ваша дружба была мне дороже всякой любви, кроме вашей».

2 января 1815 года, возвращаясь из деревенской церкви в Сигеме в дом своих родителей, новобрачная сказала Гобгоузу, одному из друзей Байрона и спутнику его путешествий: «Если я не буду счастлива то лишь по собственной вине».

Байрон жил в деревенской обстановке у тестя. Наступил «сироповый» месяц, как писал Байрон, уже с некоторой иронией, относясь к проблеме вручения своей жизни «милому вожатому». «Полевой цветок» постепенно превращался в синий чулок, а миловидная простота и сердечность превращались в беспощадную жестокость «принцессы параллелограммов и ромбов, математической Медеи, блюстительницы добрых нравов».

Стихи, греческий язык, математические познания — все это оказалось ярлыками, приклеенными водой. При первом подсыхании чувств ярлыки отпали и оказалось, что ни устремления воли, ни характеры супругов не дополняли друг друга, ибо внешние, и случайно приобретенные свойства Анабеллы Мильбенк не были тем фундаментом, на котором могли строиться глубокие внутренние отношения, взаимное понимание и та дружба, которая связывает спутников жизни гораздо прочнее, чем общие литературные вкусы или горячие проявления чувства в первые моменты совместной жизни.

Байрон только что закончил сборник стихов под названием «Еврейские мелодии». Еврейский музыкант Натан был тем

даровитым инициатором поэтической темы, которая завлекла Байрона и вдохновила его на «Еврейские мелодии». Колорит Востока всегда пленял Байрона, а библейские темы, величавые — и простые, особенно совпадали с периодом его матримониальных стремлений. Вот почему «Еврейские мелодии» отличаются большой завершенностью и цельностью. Натан был одним из лучших друзей Байрона, и в тот период, когда английский свет закрыл перед Байроном двери, Натан мужественно не покидал Байрона в самые тяжелые моменты его жизни.

Вторая ссора с миром. Разрыв с Англией

Март 1815 года застает Байрона у своих новых родственников. Он безвыездно живет в Сигеме и переписывается с Лондоном.

Наступал период европейского сна. Затяжной венский конгресс разбирал проект «священного союза», предложенный русским царем с'езду европейских монархов. Францию стремились втиснуть в границы 1789 года, человеческую мысль стремились отвести назад и утвердить в пределах церковно-монархических-идеалов. Но жизнь кипела и бурлила и во Франции и в Англии, несмотря на то, что Венский с'езд монархов стремился понизить температуру этого кипения. Мы уже сказали о том определенном брожении, какое испытывало население Англии. Франция с первых дней Реставрации чувствовала себя неспокойно. Свободный ввоз английских машин с 1815 года ускорил темпы капиталистического развития крупнейших центров Франции — Парижа, Лиона, Орлеана и других городов, а вместе с тем и революционизирование пролетариата этих городов.

Каждый живой и мыслящий ум тогдашнего времени стремился разобраться в событиях, и Байрон в свой «сироповый месяц» предавался очень горьким раздумьям. В эти минуты леди Байрон своеобразно поняла свою задачу. Она решила на крылатого Пегаса байроновского вдохновения надеть мирный христианский хомут деревенской клячи. Лев уже был укрощен, его можно было показывать в домашнем цирке. Огромный, потрясенный и разрушенный мир революционных идей возрождался перед взором Байрона в ту минуту, когда «милый вожатый» протянул ему руку, чтобы подвести супруга к жалким кустикам гниющего, крыжовника в деревенском саду своего отца. Второго марта 1815 года Байрон пишет Томасу Муру: «Я погрузился в полнейшее однообразие и застой. Я занят исключительно пожиранием фруктов, шатанием без цели, скучнейшей игрой в карты с попытками читать старые ежегодники и текущие номера газет, собиранием раковин на берегу и созерцанием того, как в саду перед глазами растут захиревшие кусты крыжовника. У меня нет ни времени, ни мыслей, чтобы прибавить к этому что либо…»

Один только раз всколыхнулся этот мертвый сон. Бонапарт бежал с Эльбы, высадился в бухте Жуан и по горным тропинкам

южной Франции с горсточкой людей кинулся на Париж. Людовик XVIII бежал.

27 марта 1815 года Байрон снова пишет Томасу Муру: «… Теперь о вашем письме. Наполеон! но газеты уже наверное сообщили вам обо всем. Относительно этого вопроса я вполне согласен с вами, а если вы хотите знать, что я действительно думал об этом год тому назад, — я отошлю вас к последним ч страницам моего дневника, который я вам передал. Нельзя не быть пораженным и ослепленным его личностью и судьбой. Я никогда не был ничем так разочарован, как его отречением, и ничто не могло бы примирить меня с ним, кроме возрождения, подобно его последнему, подвигу; хотя, конечно, никто не мог предвидеть такого полного и блестящего восстановления».

Миновал апрель месяц. Кусты захиревшего крыжовника, пыльные альманахи и карты, тесть и теща несли несменяемую сторожевую службу вокруг Байрона.

Вполне понятно, что в дневнике того времени неожиданно появляется в памяти образ Мери Чаворт, красивой девушки, — первой, самой ранней любви Байрона. Еще больше воспоминаний Байрона за это время относится к Мери Дефф. Байрон с горем узнал, что эта когда-то живая, веселая девушка вышла замуж за Местерса и внезапно заболела тяжелой формой меланхолии. Эта мысль причиняет Байрону боль. Опять возникают печальные размышления о собственной судьбе, плохие размышления для «сиропового месяца». Они связаны с возвращением к мысли о «природе слепой и губительной», ставящей на пути полного расцвета человеческой личности, на пути полного могущества человеческой воли непреодолимые ограничения. Мысль Байрона идет дальше. К этим ограничениям, которые ставит природа, человек присоединяет тысячи застарелых привычек и условных связей, которые кажутся непреодолимыми. В деревенской глуши Байрон еще острее чувствует необходимость разрушения этих законов, перегородок и ограничений ради раскрепощения новой человеческой личности. Свободные искания превращаются в бунт против законов человеческого общества, и вся система человеческих отношений берется Байроном под сомнение. Несвоевременность этих размышлений вовлекает его в конфликт с новыми родственниками. Благодушная шутливость, великодушное стремление щадить свою новую родню сменяются у Байрона раздражением. Он видит, что не только дочь сэра Ральфа Мильбенка дана ему в обязательные спутники жизни, но и вся система застарелых и затхлых взглядов консервативной семьи навязана ему как обязательное приданое. Чем дальше, тем труднее становится переносить это. Байрон не скрывает этого от

Томаса Мура. Собираясь переехать с своей молодой женой в Лондон, он пишет:

«…Мне было здесь очень уютно выслушивать эти проклятые монологи, которые пожилые джентльмены называют разговорами, в которых мой благочестивый тесть повторяет самого себя аккуратно каждый вечер, за исключением одного раза в неделю, когда он играет на скрипке. Однако они все любезны и гостеприимны. Мне отменно нравятся и они сами и местность, в которой они, дай им бог, проживут еще много счастливых месяцев. Белль здорова. Ее хорошее настроение и ровное обращение не меняются. Но сейчас мы переживаем мучительные приготовления к от'езду. И я пламенно надеюсь, что завтра в эти часы я) уже буду втиснут в экипаж и мой подбородок благополучно будет упираться в какую-нибудь дамскую картонку. Но я приготовил другую карету для горничной и всей той мишуры, которую наши жены имеют обыкновение повсюду таскать за собой.

Любящий вас *Байрон*».

Европейские события застали Байрона в Лондоне. Битва при Ватерлоо, ссылка Наполеона на океанский остров и особенно письмо Наполеона к Георгу-регенту — вызвали у Байрона прилив раздраженного презрения. Его не радовал визит Блюхера и Велингтона в Париж, Он достаточно резко высказывался об этом в своих беседах, которые, повидимому, стали предметом детального обсуждения в Сигеме. Мы не имеем сведений, Подтверждающих предположение о ссорах Байрона с тестем и тещей, но совершенно не случайной является отправка из Сигема в Лондон вместе с шляпными картонками и баулами некоей госпожи Клермонт. Это было тоже своеобразное добавление к приданому мисс Мильбенк. Очевидно, при наружном благодушии И благожелательстве четы Мильбенк и тесть и теща после «сиропового месяца» своей дочери решили не оставлять дочь глаз на — глаз с опасным человеком в Лондоне. Родителей Анабеллы все больше охватывало подозрение, подозрение превращалось в осуждение. Сэр Ральф для проверки преступной души поэта счел необходимым отдать его под надзор хитрой помещичьей кумушки, обладающей блестящими способностями проникать в тайны семейной переписки и подглядывать сквозь замочные скважины.

Лондон для Байрона и его жены был продолжением попыток взаимного понимания и сближения, попыток совершенно искренних. Но это сближение было похоже на встречу двух существ, которые издалека не видели непроходимой пропасти, ожидающей их на пути.

Первым произведением Байрона, вышедшим после брака, было «Осада Коринфа». Поэма закончена летом 1815 года. Автор повествует о том времени, когда Коринф выдерживал турецкую осаду. В турецком войске венецианский гражданин Альп, христианин, принявший мусульманство, мстительный и злой, законченный ренегат, является самым ярым противником Коринфа. Вражда выросла из чисто личных поводов: Альп любит Франческу Миноти — дочь правителя Коринфа, дочь человека, бывшего причиной всех несчастий Альпа. Коллизии, конфликты, контрасты — весь арсенал романтических приемов, которые и последующее десятилетие были уже скомпрометированы в — глазах читателя, но в ту пору еще не утратили своей свежести; и если теперь «Осада Коринфа» кажется нам произведением смутным, по существу бессюжетным, то в год своего появления оно имело всю прелесть новизны-Леди Байрон ждала рождения ребенка. Она радовалась возвращению Байрона к восточным темам, но просила его смягчить мрачный колорит поэмы. Леди Байрон в этот период стремится всячески помочь мужу вплоть до того, что переписывает по несколько раз его произведения.

Вслед за «Осадой Коринфа» в феврале 1816 года появилась Новая поэма, являющаяся вершиной байроновского творчества лондонского периода. Опять совершенно не английский сюжет. Место действия — Италия. Происшествие заимствовано из хроники герцога Феррарского. Поэма называется «Паризина». Байрон воспроизвел события, имевшие место в хронике 21 мая 1425 года. Николаи д'Эсте, маркиз Феррарский, женился на Паризине Малатеста. Паризина вошла в дом феррарского владыки и встретила там девятнадцатилетнего Уго, побочного сына своего мужа. Хроника повествует о любви Уго и Паризины, после раскрытия которой маркиз Феррарский приказал казнить не только любовников, но и всех неверных жен Феррары.

До Байрона эту хронику драматически обработал в пьесу «Наказание без мщения» испанский драматург Лопе де Вега. Но самый скажет восходит к очень древним временам, начиная с классической Федры, любившей пасынка Ипполита; трактовка этой темы доходит до Альфиери, написавшего драму на этот сюжет под названием «Мира».

Поэма появилась в печати в феврале 1816 года, но сдана была издателю Меррею уже в декабре 1815 года. Байрон спешил, потому что в этом же месяце у него родилась дочь Ада.

Мы не знаем, обсуждался ли в новой семье Байрона вопрос о переходе титула, о ньюстедском и роддельском имениях Байрона, но, невидимому, уже в это время рождение дочери, а не сына косвенно повлияло на планы Ральфа Мильбенка. Рождение

сына значительно укрепило бы внутрисемейный авторитет Байрона. Рождение дочери влияло в обратную сторону. Оно укрепляло позиции матери. Во всяком случае наступило резкое изменение внутрисемейного положения Байрона, осложненное бешеным выступлением светского общества против. «Паризины», появившейся в печати.

Пересматривая законы «общественной» морали, Байрон выступил с защитой естественного чувства Паризины, отказавшейся от человека не ее возраста, за которого она была выдана замуж по расчету, и отдавшейся влечению сердца. Но этот пересмотр, произведенный Байроном так смело, оказался как нельзя более несвоевременным. Он не понравился тестю и теще, он не понравился лондонским матронам, и, как писал Байрон, «престарелые мужья молоденьких супруг с негодованием щупают свои лбы, ожидая ветвистых произрастаний». Светское общество было недовольно. Этим воспользовались и те, кто был недоволен политическими сатирами, и вольнодумством Байрона. Немедленно последовал удар по материальному благополучию Байрона. Наследство Байрона в деньгах равнялосъ восьми тысячам фунтов стерлингов, ушедшим на восстановление Ньюстеда после свадьбы. Мисс Анабелла принесла с собой десять тысяч фунтов, но и на эти деньги внезапно был наложен арест. Непосредственно после рождения ребенка Байрон оказался нищим. Одновременно с листками критических отзывов полетели в квартиру Байрона исполнительные листы, принудившие его, в очень трудное для него время, продать все, не исключая библиотеки.

«За последние дни, — писал Байрон, — у меня перебывали десятки судебных приставов. В доме нет вещей, которые не попали бы под запрет, перестав, быть моими, но я начинаю привыкать к этому и работаю как прежде».

Ральф Мильбенк с супругой проживали в йоркширском имении и никак не отзывались на несчастия молодой четы и новорожденного ребенка. В довершение этих бед Меррей, издатель Байрона, имел неосторожность показать поэту рукописный пасквиль под названием «Анти-Байрон». Байрон был назван в нем богохульником, развратником, пасквиль содержал в себе прямые угрозы для жизни и безопасности Байрона. Этот документ, ходивший уже по рукам в сотнях списков, привел Байрона в бешенство. Анонимные письма и угрозы осаждали Байрона беспощадно. Во время январской поездки в Ньюстед с Вебстером Байрон удивил последнего тем, что на крутом повороте дороги приготовил пару заряженных пистолетов. На вопрос Вебстера, что это значит, Байрон спокойно ответил, что

«имеет основание опасаться насильственной смерти».

Из Вены в Лондон вернулся лорд Кестльри и привез сгущенное мракобесие Венского конгресса в Качестве идейной нагрузки своего министерского портфеля. Этому человеку суждено было стать активным участником травли Байрона, а последующая история вскрыла и другого организатора травли: автором «Анти-Байрона» оказался Георг IV.

В большинстве биографий Байрона этот период его жизни освещен чрезвычайно односторонне… Оценка его поведения обычно низводится к обстоятельствам чисто личного и даже интимного свойства. А между тем более глубокий и добросовестный анализ последнего времени жизни Байрона в Англии приводит к бесспорному выводу: во-первых, жизнь и поведение Байрона встречали резко враждебное отношение со стороны господствующих классов, уже потому, что в каждом движении Байрона они видели покушение на богатства и благополучие Соединенного королевства, и, во-вторых, что душевное равновесие Байрона нарушалось больше всего удушающими реакционными явлениями общественной жизни, которыми полна была Англия.

Никто, например, не обратил внимания, как болезненно Байрон следил за событиями в Ирландии, развернувшимися как раз в эти годы. Существовал старинный акт, в силу которого ирландские чиновники должны присягать королю как главе англиканской церкви, платить десятины англиканскому духовенству, несмотря на то, что они как католики никакой связи с англиканской церковью иметь не желали. Губернатор Ирландии, лорд Уэлесли, брат Веллингтона, не только полностью сохранил все эти пережитки, но и потребовал новых полномочий, которые и были ему даны. Преследования ирландцев дошли до чудовищных размеров. В городах и селах Ирландии люди, не имеющие специального знака, должны были к определенному часу быть на своих квартирах. Тот или иной сигнал возвещал всякий раз по-новому час, после которого католик, встреченный на улице, считался преступником. Ссоры, ночные убийства, целые сражения между ирландцами и англичанами и страшная, все возрастающая нищета серьезно встревожили — даже врагов Ирландии. Все эти события были предметом живейшего обсуждения злорадной континентальной прессы, все это и многое другое в тысяче отголосков доходило до ушей Байрона и отравляло его сознание. Но все эти обстоятельства почему-то не учитываются биографами Байрона и поэтому перипетии его семейного конфликта становятся для них единственным источником его биографии.

Обычно выставляется как главная причина дезорганизации

семейных отношений Байрона сводная сестра Байрона, Августа Ли. Байрон будто бы любил ее больше, чем то дозволено родственными связями, и она будто бы отвечала на это нездоровое чувство. Так, по крайней мере, говорит последующая молва. Мы имеем основание утверждать, что разрыв супругов Байрон был подготовлен раньше, чем были найдены поводы для разрыва, и приговор был вынесен задолго до совершения тех «преступлений», которые были впоследствии сфабрикованы.

4 апреля 1816 года появились в печати стихи: одно называлось «Прощание», оно было написано 17 марта 1816 года; другое, «Эскиз», было посвящено неизвестной женщине.

Эти Два стихотворения — «Прощание» и «Эскиз»— раскрывают нам гораздо больше, чем все пасквили на Байрона. Очень возможно, что Байрон был плохим супругом, очень возможно, что увлечение вином и наркотиками действительно имели место после приезда в Лондон. Но уже не только возможно, а вполне достоверно то обстоятельство, что ни Ральф Мильбенк, ни сама Анабелла не сделали ничего, чтобы погасить судебную травлю и особенно те светские пересуды, которые с настойчивостью сыскной собаки травили Байрона. Мало того, — они подтвердили законность этой травли, когда в январе 1816 года, закутав одномесячного ребенка и не предупредив мужа, леди Байрон выехала в заранее приготовленном экипаже в имение своего отца, Керби Маллори. Правда, она написала Байрону письмо с дороги и называла мужа в этом письме обычным ласковым словом «милый голубок». По письму нельзя было предполагать разрыва. Байрон, удивленный от'ездом, ждал возвращения жены, но напрасно. По прошествии нескольких недель Байрон уже от посторонних людей, никак не связанных с его семьей, узнал, что леди Байрон «не намерена когда бы то ни было вернуться в дом мужа». Стихотворение «Прощание» и было посвящено леди Байрон:

Прости! И если так судьбою
Нам суждено — навек прости!
Пусть ты безжалостна — с тобою
Вражды мне сердца не снести.

Стихотворение «Эскиз» имеет в виду домашнего сыщика госпожу Клермонт и принадлежит к числу самых желчных, самых отравленных произведений Байрона. Очевидно эти короткие девяносто строчек концентрировали всю ненависть Байрона к мещанской Англии. Начинается оно такими строками:

Родясь на чердаке, на кухне взрощена
И к барыне взята — служить при туалете,
При помощи услуг, державшихся в секрете,
Оплаченных ценой неведомой — она
К господскому столу допущена оттуда,
К соблазну прочих слуг, ей подающих блюдо.
Храня спокойный вид, берет она прибор,
Что ею же самой был чищен до сих пор.
Остер язык ее, и лжи — запас богатый;
Поверенная всех и общий соглядатай —
Какие ж на себя взяла она труды?

Речь шла не о простом «несходстве» характеров лорда Байрона и его жены, речь шла о столкновения двух мироощущений. Мир большого поэта, построенный на распаде феодальной психологии, склонявшейся к тем социальным поискам, которые лучше всего проявились в так называемом феодальном социализме (от которого, кстати сказать, рабочий класс по выражению «Коммунистического манифеста», «убегал со звонким и непочтительным смехом, увидав на нищенском мешке дворян-социалистов старинные гербы»), — этот мир был враждебен и той крепкой английской буржуазии, которая со звериным оскалом зубов бросилась на мир, как на свою добычу, и тому уровню мелкопоместной обывательщины, на котором стояла, как на незыблемой скале, математическая Медея — мисс Мильбенк.

Госпожа Клермонт играла очень ясную роль во всех этих кошмарных днях с 17 по 29 марта 1816 года, когда Байрон стал похож на путешественника, заснувшего в комфортабельной каюте и проснувшегося на обломке мачты после крушения. Байрон говорит) что госпожа Клермонт обладала способностью не только наблюдать, но и создавать факты, если их не было налицо. Байрон был доверчив с тем легкомысленным великодушием гения, с той гордыней избалованного ребенка, которая лишает человека бдительной осторожности в житейских делах. И в дальнейшей жизни Байрон сохранил это свойство, присущее гению и ребенку, — он не умел скрывать своих пороков. В силу этих свойств Байрона работа госпожи Клермонт была чрезвычайно облегчена. Уже в Сигеме, подглядывая в замочную скважину или на прогулке из-за кустов подслушивая мелкие ссоры супругов, госпожа Клермонт доказала свою полезность и необходимость в роли ангела-хранителя Анабеллы. А в Лондоне она выкрадывала письма Байрона, подглядывала из-за ширм

супружеские поцелуи и подслушивала интимные речи, затем отсылала копии специально подобранных существующих и несуществующих писем тестю и теще Байрона. Когда Байрон после прогулки верхом возвращался домой, готовый продолжать свой поэтический труд, он не находил рукописи на месте. Открывая дверцы книжного шкафа, он замечал, что книги переставлены, он не находил дружеской записки, служившей закладкой читаемой книги. В под'езде, на лестнице ему попадались неизвестные лица, которые впоследствии оказались представителями специального надзора, навещавшими госпожу Клермонт. Не без удивления он согласился на категорическое требование от'езда гостившей у него сестры, не без удивления узнал, что принятая им работа в театре «Друрилен» связана для него с потерей светского авторитета и уважения новых родных.

Все эти обстоятельства, которые Байрон никак не связывал с пребыванием госпожи Клермонт, вдруг стали для него полны зловещего смысла после от'езда жены и исчезновения пачек писем.

Проходило время, жена не возвращалась. Байрон просил об'яснений; леди Анабелла, наконец, написала ему короткую записку с просьбой «приехать для переговоров». Байрон не поехал, и тогда леди Байрон раскрыла свои истинные намерения. «Полевой цветок» внезапно обнаружил свойства дипломата, «нежная голубка» заговорила языком полицейского. Ни какого намека на вражду к золовке, наоборот, — полное доверие и даже стремление вовлечь Августу Ли в заговор против Байрона. Вот, например, одно из ее писем к Августе:

«Керби Маллори, 16 января 1818 года.

Моя дорогая сестра! Ты считаешь мое молчание очень странным, но ты не знаешь, в каком я замешательстве и как боюсь написать прямо противоположное тому, что хотелось бы. Повидимому, болезнь не развивается, и, по-моему, теперь она не сильнее, чем бывало много раз в прежние периоды. Это печально для тех, кому он дорог, потому что шансы на выздоровление не увеличиваются, хотя печальная развязка и отсрочивается. Помнишь ли, он сказал, что мне придется кормить до 10 февраля. Я думаю, он намерен около этого времени приехать ко мне pour des raisons и уехать затем за границу, как только убедится, что он достиг той цели, которую имел в виду.

Я думаю, что он, если сознает болезнь, допустит к себе Лемана, в присутствии которого он сумеет владеть собою, в расчете, что тот засвидетельствует здравость его рассудка. Факт с пистолетом разителен. Такие опасения граничат с помешательством, а между намерением и исполнением очень

маленькая разница.

…Став теперь под защиту моих родителей, я, разумеется, должна дозволить им принимать такие меры, какие они сочтут нужным для моего благосостояния, лишь бы только другим не было вреда. Отец настаивает, чтобы я конфиденциально посоветовалась с кем-нибудь из юристов, и я думаю, что мать сможет устроить это. Зная твое беспокойство за меня, я не скрываю от тебя этого намерения.

Всегда твоя А.И.Н.Б.»

В 1817 году в одном из многочисленных отрывков, свидетельствующих о незаконченных замыслах, Байрон так характеризует этот период своих отношений.

…«С дороги я получил от нее нежное письмо. Она сообщала о здоровье своем и нашего ребенка. По прибытии к своему отцу она написала мне второе письмо, еще более нежное и даже местами игривое с приглашением приехать к ней, но следом я получил третье письмо уже от ее отца. В этом письме он в самых вежливых, но категорических выражениях требовал расторжения брака. Я ответил, что, женившись на дочери этого почтенного человека, я нахожусь в супружеской переписке именно с нею и потому не могу дать согласия на развод. Следом пришло письмо от моей супруги, в котором она сообщала, что ее родитель предложил мне развод с нею на основании ее собственного согласия. При этом она вторично приглашала меня приехать, сообщая мне, что она оскорбленная и прекрасная женщина. Тогда я спросил ее о причинах разрыва и о странном противоречии с первыми нежными письмами. В ответ я получил письмо совершенно лишенное нежности. Супруга писала мне, что нежные письма и приглашение она писала в расчете на то, что считала меня умалишенным и что если бы я решился пропутешествовать в одиночестве в имение ее родителя, то, конечно, мне было бы оказано особое гостеприимство со стороны тестя, т. е. я встретил бы на пути нежнейшую из жен: смирительную рубашку, рукава, завязанные на спине и камеру умалишенного».

Горький тон этого отрывка не должен закрывать от нас фактического положения вещей. Несходство характеров, повлекшее к ссорам, разница в задачах и во взглядах на жизнь, приведшая к тому, что люди, любившие друг друга, в одно прекрасное утро смотрят друг на друга, как неприязненные незнакомцы, все это могло бы привести к обыкновенному выводу житейского порядка. Байрон и его жена стали бы жить врозь, не оформляя этого решения, но особые обстоятельства, сопровождавшие эту ссору, говорят нам, что мещанско-аристократическое общество было заинтересовано в создании

скандального разрыва. Когда возникла трещина в отношениях между супругами, то оно немедленно забило клин в эту трещину, и если бы не случайные стечения обстоятельств, то физическая личность Байрона была бы, быть может, негласно уничтожена.

Вспомним маленькую деталь из письма леди Байрон к Августе Ли: «Факт с пистолетом разителен. Такие опасения граничат с помешательством, а между намерением и исполнением очень маленькая разница».

В мудреном языке этого письма многие склонны усматривать «зловещий» смысл: ведь Байрон стрелял в комнате своей лондонской квартиры. Между тем обстоятельства этого инцидента очень просты. После угрожающих анонимных писем, не тревожа никого своими опасениями, Байрон редко отправлялся в дорогу невооруженным. Парламентские регистры тогдашнего времени сухо и холодно повествуют об участившихся по ночам исчезновениях людей на улицах Лондона и особенно за пределами городской черты. Леди Байрон застала мужа заряжающим пистолет в комнате. Во время разговора Байрон выстрелом погасил свечу в углу своего кабинета. Можно быть уверенным, что леди Байрон была не столько напугана, сколько шокирована неприличным поведением человека, щеголяющего отличной стрельбой в неприспособленном закрытом помещении.

Были и другие факты, вызвавшие недоумение леди Байрон. Нервная и впечатлительная натура поэта унаследовала черты «бешеного Джона», отца Байрона, и неуравновешенность матери. Припадки бешенства, лицо, искаженное судорогой, — не это пугало Анабеллу. Как человек, лишенный мужества, она поддалась эгоистическому испугу за себя, вместо того, чтобы помочь и себе и Байрону. Она смотрела на Байрона с точки зрения благопристойного салона и требовала от человека той же замороженности, какая отливала ее самое. Покорная и благопристойная дочь, леди Байрон с поспешностью, более чем неблагоразумной, выдала тайну своих бед родителям. Она сообщила, что муж находится на пороге полного сумасшествия, а любвеобильные родители, любящие бога и короля больше, чем зятя, конечно, пришли в ужас и увидели в этих жалобах торжество своих собственных предположений. Семья сэра Ральфа оказалась благодарной почвой, на которой уже чужие руки начали посев тех ядовитых растений, которые отравили жизнь Байрона. И если впоследствии другая женская рука прицепляла пистолеты к седлу Байрона, уезжавшего перед рассветом на побережье в сосновый лес в период опасных карбонарских встреч, то руки Анабеллы сделали все, чтобы Байрон оказался обезоруженным под ударами лондонского света.

Байрон не предполагал истинного размера начатого против него похода. 7 апреля он опубликовал в газете «Икземинер» стихи на тему о звезде почетного легиона, о том французском ордене, который был связан для Байрона с принятием революционных идей, внесенных французскими походами в Европу. Стихотворение было расценено как непатриотическое, и некий Джон Скотт, издатель торийской газеты «Чемпион», через десять дней (поместил заметку, в которой буквально говорилось, что стихи о звезде почетного легиона можно писать только имея две головы на плечах. Замахнувшись на одну из этих голов, Джон Скотт в один узел связывает и политическое преступление Байрона и прощальное стихотворение, обращенное к жене, хотя Байрон нигде не указывает адресата этих стихов, и тот «Эскиз», который, как легко было догадаться после широкой огласки ухода леди Байрон, относился к госпоже Клермонт. Скотт писал следующее: «Для надлежащей оценки подобных политических произведений лорда Байрона надо принять во внимание также и соответствующую этим стишкам практику нравственного поведения поэта и его поступки в семейной жизни. Многие факты этой грустной истории, к счастью, довольно широко известны в Лондоне. Что же удивительного в том, что поэт, венчавший лаврами императора, ненавистник законных французских королей Бурбонов, пишущий панегирик „звезде храбрых и радугам свободы“, оправдывает ересь своего политического бунта еще большей гнусностью своего личного разврата, противоестественным пороком и, вдобавок, сопровождает все это жалобными стишками в одном случае и клеветнической бранью — в другом».

С этого дня, как по сигналу, открылась газетная травля против Байрона. Англия начала избиение человека, якобы по поводу его «семейных дел», причем самое крупное из выдуманных дел было гораздо невиннее самого мелкого факта семейной жизни тогдашнего английского короля. Байрон писал 29 февраля 1816 года Томасу Муру:

«Я воюю „со всем миром и своей женой“ или, скорее, „весь мир и моя жена“ воюют со мной, но они не сломили меня, несмотря на все, что они делают. Не помню мгновения, — здесь или за границей, — когда я был бы в таком положении — совершенно оторванный от радости в настоящем и без какой-либо разумной надежды на будущее. Говорю это потому, что так думаю и чувствую. Но я не паду под этим бременем, несмотря на то, что сознаю все это — я так решил.

Между прочим, вы не должны верить всему, что услышите на эту тему, и не пытайтесь также защищать меня. Если бы вам и

удалось, это будет для меня смертельным и несмываемым оскорблением, потому что в таких случаях всякие опровержения недопустимы. Для тех, кого я имею в виду, у меня готов очень короткий ответ; но до сих пор, несмотря на всю свою энергию и на помощь нескольких деятельных друзей, я не мог найти определенного лица, с которым, под благовидным предлогом, я мог бы с необходимой краткостью обсудить этот вопрос; одного я почти пригвоздил вчера, но он увернулся, дав мне об'яснение, удовлетворительное по мнению других. Я говорю о тех, кто распространяет сплетни, не испытывая против них враждебного чувства, но я должен действовать, по общепринятым правилам, когда мне случится встретить более серьезных из тех, кто этим занимается…

…Я не имею даже самого неясного представления о том, что буду делать сам — или с самим собою, — ни где, ни что. Несколько недель тому назад я рассказал бы вам нечто такое, что могло бы вас рассмешить, но говорят, что я не должен смеяться, поэтому я был все время очень серьезен, остаюсь серьезным и сейчас.

Я был не совсем здоров — болезнь печени, — но за последние две недели мне стало лучше, хотя я все еще нахожусь под надзором врача. Моя маленькая девочка в деревне и, говорят, прелестный ребенок; теперь ей почти три месяца. Сейчас за ней наблюдает леди Ноэль, моя теща. Дочь ее (урожденная мисс Мильбенк), кажется, находится в Лондоне со своим отцом. Некая миссис Клермонт, которая в лучшие времена была прачкой, а сейчас — нечто вроде экономки и шпионки леди Ноэль, в значительной степени, по мнению сведущих людей, может считаться тайной причиной наших теперешних семейных разногласий.

Во всей этой истории мне больше всех жаль сэра Ральфа. И он и я одинаково наказаны, хотя и тяжело страдать обоим за ошибку одного: — я буду со своей женой разведен, а он останется со своей».

Байрон продолжал еще думать, что все его житейские осложнения являются следствием семейного непорядка. Он работал, совершал прогулки пешком и на лошади, виделся с теми, кто по социальному положению не попадал в круг родственников его жены, но кто очень серьезно интересовал человека, произнесшего в палате лордов речь против казни ткачей.

Неожиданно к Байрону начали наведываться доктор Лашингтон, доктор Леман и лондонский адвокат сэр Самюэль Ромилли, все чаще и чаще один за другим, а иногда попарно. То

юрист под видом доктора, то доктор под видом юриста, то вдруг два юриста, то внезапно два доктора в разное время дня, прерывая рабочие часы поэта, навещали его на квартире сначала негласно и тайком, а потом открыто. Но все обследования и визиты не дали желанного результата. Врачи констатировали дважды элементарные моменты вечернего воздействия алкоголя и полное, юридически обязывающее к ответственности, состояние душевного здоровья.

Вокруг поэта постепенно развертывается дикая юридическая свистопляска. Начало, повидимому, было положено формальным заявлением леди Байрон о разводе.

Один из бывших друзей Байрона, Гобгоуз, говорит, что леди Байрон намеревалась передать прокурору Вильмонту «формальное признание о том, что ее родители и она сама в целях совершенно не семейного порядка оклеветали Байрона». Но это было только минутное колебание. Гобгоуз говорит, что она на его же глазах разорвала этот документ. И дело, начатое против Байрона, получило «законный ход».

Байрон был передан в руки английских палачей, не тех, которые выворачивают руки на дыбе, а тех, которые выворачивают душу наизнанку. Юридическое издевательство дошло до такого предела, что Байрону пришлось обратиться к Самюэлю Шеппарду с просьбой о ведении процесса в более «пристойной юридической рамке», чем то позволили себе юристы, приглашенные семьей Мильбенк.

Дело приобретало характер скандала, после которого Байрону стало почти невозможно появляться в лондонских гостиных. Маленькая семейная случайность выросла до размеров великобританского скандала, развод поэта превратился в политический случай, и это в то время, когда принц-регент через парламент и палату лордов стремился превратить королеву Англии в кокотку, без всякого риска потерять власть.

Есть основание предполагать, что девяносто третья строфа четвертой книги «Чайльд Гарольда» написана в Лондоне. Прозаическая запись Байрона говорит: «То, что называют мнением общества, — это могущественная сила, окутывающая человеческий мир покровом тьмы в целях превращения в жалкую случайность явлений правды и справедливости. Вот почему люди покрываются мертвой бледностью при мысли, что их подлинные суждения покажутся слишком яркими: мысль превращается в преступление, ибо мнение господствующего общества с ужасом видит, что на землю в их сумрак льется слишком яркий поток небывалого света».

Как бы вторя Байрону, историк Маколей говорит: «Я не знаю

более комического зрелища, нежели английское общество в те дни, когда наступает периодический пароксизм моральной судороги. Вообще, увоз чужих жен, разводы и семейные ссоры происходят в Англии мирно, не обращая на себя ничьего внимания. Мы, англичане, читаем о случившихся скандалах, поговорим в течение суток и навсегда о них забываем. Но вдруг, на шестой или на седьмой год наша проснувшаяся добродетель продирает глаза и становится воинственной. Мы терпеть не можем в эти минуты, чтобы законы религии и нравственности попирались в отношениях между супругами. Мы считаем себя обязанными строить крепости против натиска порочных страстей. Мы внезапно желаем манифестировать и декларировать всему миру, какие мы молодцы в понимании великого значения святыни семейных уз. В силу этих внезапных, как ураган, обстоятельств несчастный человек, который нисколько не меньше и нисколько не больше испорчен, чем сотни, тысячи других людей, поступки коих вызывали всегдашнее снисхождение, вдруг становится козлом отпущения. Если у него есть дети, их отнимают. Если он занимает должность, его прогоняют со службы. Представители правящих и высших классов Англии изгоняют его из гостиных и перестают ему кланяться. Мальчишки из низших классов встречают его шипением и шиканием, а провожают его свистками и комьями грязи. Одним словом, он делается похож на тех несчастных школьников, которых наказывают для примера товарищам. Вот, наконец, все это проделано. Мы с чувством внутреннего самодовольства садимся кушать, с наслаждением думая о собственной строгости, и с величайшей гордыней сравниваем достигнутую высокую ступень нравственности Англии с несчастными подвальными порогами, на которые карабкаются легкомысленные парижане. К концу обеда, вместе с пищеварением, наступает утоление гнева. Говорят, что жертва нашей добродетели разорена и доведена до нищеты; наконец, за десертом сообщают, что жертва нашей добродетели умерла с отчаяния. Но вот наступает конец, наша утоленная сытая добродетель ложится спать на следующие семь лет».

Маколей, как и многие буржуазные историки, произвольно намечает какие-то «семилетние периоды» трагических столкновений личности и общества. На самом деле эти столкновения имеют вполне естественные причины, но они никаким образом не связаны с какими-либо сроками. Мы уже указывали на глубокие общественно-политические причины, которые несомненно отразились на распаде феодально-дворянского строя Англии. Бескорыстные и внутренне

добросовестные поиски выхода из мещанско-аристократического болота не только не вели талантливых одиночек этого класса назад, но устремляли их к поискам лучшего устройства человеческого общества. Воспитанные на идеях Руссо, Локка, Юма, Декарта, который считал целесообразным скептическое отношение решительно ко всему, кроме факта собственного существования (cogito, ergo sum — я мыслю, значит я существую), эти люди, после падения устойчивых форм существования своего класса, начали полный пересмотр всех общественных отношений, всей суммы знаний, всего установленного порядка человеческих воззрений на нравы и взаимоотношения людей, а потом перешли к страшному вопросу о месте одинокого человека в природе. Эта природа казалась им то обаятельным другом, спутником Руссо, собиравшим гербарий из красивых цветов в Монморанси, то страшным врагом, вечно уничтожающим, одни формы для торжества других, унижающим самое достоинстве) минутного человеческого сознания), навеки затухающего в час смерти.

Все эти люди, построенные по типу Байрона, не могли итти дальше одиночного бунта, ибо еще не созрел коллектив, способный спаять волю трудящегося человечества, стремившегося к преобразованию мира. Но эти люди обладали и многими достоинствами, в том числе социальной романтикой, которая в своих устремлениях не шла назад к реставрации прошлого, а смотрела вперед, несмотря на то, что индивидуальные поиски этого будущего часто приводили к гибели. Если бы Байрон в силу своего общественного положения, титула, сравнительного благополучия личного существования мог сойти на уровень заурядного обывателя, он, конечно, никак не пострадал бы. Но этот «непонятый чудак» не удовольствовался этим «счастливым» жребием, он пошел в разрез английскому государственно-политическому быту — и потерял родину. Он пошел в разрез тогдашней европейской морали, религии, и в сумерках европейской реакции этот лорд-одиночка затеял опасную игру в политическую свободу, не задумываясь отдал свои средства и блестящий талант на служение национально-освободительной борьбе итальянских карбонариев.

Чем дальше, тем труднее становилось его пребывание в Англии. Одна за другой закрывались двери гостиных. Человек оказался выбитым из привычных условий жизни, будучи неприспособленным к жизни в других условиях. Байрон начал переписку о переселении на континент. Тайком от всех он оформлял свои Документы и терпеливо ждал возможности от'езда. Он чувствовал, по собственным словам, что если клевета, распространенная шопотом и громким высказыванием, имеет

основание, то он, конечно, не подходит для Англии, а если клевета лишена какого бы то ни было основания, но продолжается, то, конечно, Англия не подходит для него.

Цепь замкнулась. Байрон не делал себе иллюзий относительно того, что общество континента способно будет отнестись к нему лучше, чем общество Англии. Байрон очень долго ждал ответа из Парижа. Надо всей Европой «священного союза» висела тяжелая и мрачная сеть таможенных загородок, и благородный пэр Англии попал в затруднение гораздо большее, чем простой матрос, предлагающий свои услуги владельцу трехмачтовой шхуны.

Замыслив от езд из Англии, Байрон написал своей жене письмо, которое мы помещаем в этой книге впервые на русском языке, как и все письма Байрона, приводимые в этой биографии. Письмо не датировано.

«Еще несколько последних слов — немного — и таких, на которые я прошу вас обратить внимание. Я не жду ответа. Да это и не нужно. Но вы по крайней мере должны выслушать меня. Я только что расстался с Августой. Ваши условия привели к тому, что это единственный человек, которому было позволено со мной проститься перед моим от'ездом. Куда бы я ни поехал:, — а я еду довольно далеко, — мы с вами больше не встретимся в этой жизни и, за себя я ручаюсь, не встретимся в будущей. Ну, теперь, после этого, вы спокойны и можете прочесть мое письмо.

…Ваш поверенный, мистер Уортон, прислал мне письмо с вашими двумя запросами. Отвечаю. Карета, конечно, ваша, а не моя, будьте спокойны. Это та самая карета, которая увезла вас от меня в, Керби Маллори. Ну так она еще много раз будет возить вас в разные счастливые путешествия.

Квитанции могут у вас остаться.

…Мне хотелось бы получить сведения о моем ребенке. Что касается другого письма — Уортона, то я должен сказать, что это не моя медлительность, а медлительность английских законов, и как только мистер Хансон установит текст документа о разводе, так я немедленно его подпишу.

Ваш *Байрон*».

Артистка Мердин в театре «Друрилен» внезапно освистана, потому что «кто-то сказал», что она хорошо относилась к директорству лорда Байрона. Друзья Байрона подвергаются неожиданному бойкоту. Для самого Байрона не безопасно двигаться по улицам Лондона. Байрон вместе с молодым итальянским врачом Полидори раньше срока выезжает на морской берег. Перед окнами дома Байрона в Лондоне разобрана мостовая. Стекла выбиты, выломаны рамы и двери. Но хозяина

нет, и несчастный домовладелец должен платиться из собственного бюджета за роковую славу своего жильца, уехавшего в Дувр.

После многих недель тщетного ожидания в Дувре Полидори принес Байрону большой пакет с французскими печатями. Байрону запрещалось не только появляться в Париже, но и пребывание на французской территории. Транзитный паспорт разрешал только проезд без остановок.

25 апреля 1816 года Байрон сел на корабль, плывший из Дувра в Остенде. Из этого нового путешествия от берегов Англии ему уже никогда не суждено было вернуться на родину.

Швейцария. На идейных высотах. Новые друзья и старые враги

Историк английского рабочего движения Колл говорит, что «в год битвы при Ватерлоо родился британский социализм». Действительно, напряженные поиски социальной правды у европейских философов и утопистов совпадают с первыми десятилетиями XIX века. Мы видим работу Роберта Оуэна в Англии, работу Сен-Симона, а немного позже — Фурье во Франции, где еще продолжалась традиция тайных обществ, построенных по образцу масонских организаций, и где после разгрома карбонаризма по итальянским городам возникла так называемая большая европейская карбонада,, где ученик и последователь Бабефа — Буанороттти — впервые осветил коммунистический опыт бабувизма в замечательной книге «История заговора равных». Нет ничего удивительного, что именно в этот период мы и в литературе находим проявление яркого политического радикализма.

Одним из примеров такого радикализма был Перси Биси Шелли. Этот поэт родился 4 августа 1792 года, следовательно, он был моложе Байрона на четыре года. В день рождения Шелли совершился крупнейший переворот в жизни революционной Франции. Об этом Шелли, изящнейший лирический поэт Англии, всегда вспоминал с особым чувством. Шелли родился в дворянской семье, как и Байрон. Отец, довольно богатый баронет, передал сыну свои стремления к беспорядочной жизни и рано освободил его от родительской опеки. Школьные товарищи Шелли отмечали его пристрастие к дурным отзывам об отце, боге и короле. В руки школьника Шелли рано попала книга скептического философа Юма — «Опыты». Он рано перелистал «Большой словарь наук, искусств и ремесел» французских энциклопедистов и сделался почитателем либеральных сочинений английского писателя Годвина. Шелли обладал способностью ни перед чем не останавливаться в области мышления, ниспровергать все авторитеты, «кроме искания чистой истины». И вот этот человек оказался таким же отверженцем, как и Байрон, на континенте Европы, и словно нарочно, судьба свела этих двух людей для того, чтобы не разлучать их до смерти одного из них. Так же, как и Томас Мур в «Урландских мелодиях», Шелли полон симпатиями к свободолюбивым стремлениям ирландского народа. Так же, как этот друг Байрона, он является почитателем Роберта Эмета, казненного английскими палачами

за организацию ирландского восстания. В Дублине Шелли выступает в роли политического агитатора. В Монтанвере на Альпах он оставляет греческую надпись: «Я филантроп, демократ и атеист». В восемнадцатилетнем возрасте Шелли начал писать длинные письма, где излагал свои атеистические и революционные идеи, и направлял эти письма известнейшим английским деятелям, лично ему не знакомым, с просьбой ответить, каким способом можно опровергнуть эти идеи. В 1811 году Шелли собрал воедино все эти материалы и опубликовал их в виде брошюры под заглавием «Необходимость атеизма». Несмотря на то, что брошюра эта была подписана математической формулой, авторство Шелли было установлено. Шелли был вызван к декану Оксфорда. Он подтвердил свое авторство и в тот же день был исключен из университета. После этого начинается мучительная скитальческая жизнь Шелли.

Говоря об атеизме Шелли, мы не должны упускать из виду, что этот своеобразный атеизм связывался у него с чистым пантеистическим мироощущением, которое является формой идеализма, обожествляющей всю природу в виде живой материи. Это — так называемый гилозоизм. Но епископальный суд и Оксфордский университет не хотели разбираться в этих тонкостях. Для них было достаточным заявление Шелли о полном ниспровержении существующих религий и существующих правительственных систем.

Шелли испытал первые удары со стороны властей, так же как и Байрон, в области семейных отношений. То, что прощалось королевской семье, то, в силу ханжеского и лицемерного уклада английского мещанства, становилось предметом особое ненависти в отношении к носителям «вольных мыслей». Шелли был женат первым браком на дочери трактирщика Вестбрука, который преследовал свою дочь, нашедшую в лице Шелли нерасчетливого и не в меру великодушного защитника. Шелли в 1814 году познакомился с дочерью почитаемого писателя Годвина — Мери Волстонкрафт. С нею Шелли отправился на континент, не выдержав преследований в Англии, принявших форму «негодования общественного мнения». Королевский суд отнял у Шелли детей и отдал их на воспитание трактирщику Вестбруку, невзирая на то, что этот человек хоть и признавал тридцать девять параграфов англиканского вероисповедания, но воспитывал детей не гуманными уговорами Шелли, а собственным тяжелым кулаком. Приговор лорда Эльдона гласил следующее: «Поведение Шелли было в высшей степени безнравственным, но, не стыдясь его, он в довершение всего проповедует ужасы атеистического учения. По смыслу закона

приказываю отнять детей вышеназванного Шелли и одну пятую его доходов, дабы обеспечить детям религиозное воспитание».

Глубоким чувством проникнуты стихи Шелли, посвященные третьему ребенку: «Они отняли у тебя маленького брата и маленькую сестру, они не позволили тебе видеться и говорить с ними. Они выжгли их слезы и стерли их улыбки, на которые я смотрел, как на святыню. Младенцами отдали они твоего брата и твою сестру в рабство убийственной религии и научили проклинать моей твое имя, потому что мы умеем думать свободно и безбоязненно. Но будет время, и падет власть тиранов, она, исчезнет, как сон, а с нею исчезнет и смелость жрецов лжи. Пока они стоят на берегу потока времен и пятнают волны этого потока кровью. Но этот поток времен наполняется слезами тысяч людей, и будет час, когда этот поток унесет в вечность мечи царей и жезлы священников, как обломки крушения прошлых миров».

Безумный страх, что третий ребенок может быть тоже у него отнят, принудил Шелли навсегда увезти его из Англии, раньше чем приговор лорда канцлера приготовил поэту тягчайшую форму гражданской и политической смерти.

Когда в декабре 1816 года провокатор Кестель вызвал стрельбу и погром оружейных магазинов в Лондоне, а некий Престон обратился к солдатам лондонского гарнизона с предложением сдаться, словно подтверждая секретное донесение полиции о пропаганде в войсках, когда парламент констатировал, что двадцать пять лет войны утроили государственный долг Англии, а секретные комитеты доложили принцу-регенту, что «государственные измены и заговоры, вольнодумство и атеизм в целях — разрушения Англии продолжают развиваться», — тогда оба изгнанника — Байрон и Шелли — были уже далеко.

И встреча была случайна и произошла не сразу. Их сближение было глубоко осмысленно и сразу вступило в полосу полного расцвета идейной дружбы.

Байрон начинал в это время новую фазу философских исканий и воплощал эти поиски, снова принявшись за работу над оставленной поэмой «Странствования Чайльд Гарольда». Третья и четвертая песни поэмы являются отражением этого восхождения на огромную идейную высоту вместе с восхождением от равнин Англии к снежным высотам Альпийских гор. Этот период жизни Байрона является периодом наибольшего философского самоуглубления.

Третья песнь «Чайльд Гарольда» начата 16 июня 1816 года. Эпиграф к ней говорит о целительном значении времени, научающем человека «думать о других вещах». Но прошел год со

времени рождения дочери Ады, а Байрон не научился не думать о ней, и поэтому третья песнь «Чайльд Гарольда» начинается и заканчивается печальными строками, посвященными дочери.

Содержание третьей песни так же мало поддается изложению, как и первые две, и заставляет читателя тщетно ждать руководящей линии сюжета: но, оставляя прежнюю форму, усиливая романтический контраст образов, еще более отдаваясь плавному течению стиха, достигшего необычайной для английских поэтов звучности, — третья песнь является, несомненно, новой ступенью по отношению к первой и второй. «Чайльд Гарольд» пытается войти в соприкосновение с огромной массой людей и внезапно понимает, что меньше всех других людей он способен итти в ногу или итти рука об руку с людьми своего круга. Он не может подчинить свои мысли владычеству людей, вознесенных на первые ступени общественной лестницы, именно в силу того, что он никогда не примирится с теми, против кого восстает его душа. Путь Чайльд Гарольда идет через Бельгию.

Перед Гарольдом Франции могила,
Кровавая равнина Ватерлоо…

Наполеон пал.

Заслуженная кара!.. Но свободы
Не знает мир, как прежде, он в цепях;
Ужель лишь для того дрались народы,
Чтоб одного бойца повергнуть в прах?
Прочь рабства гнет! Смирятся ли со светом тени?
Убивши льва, пойдем ли в плен к волкам?
И вместе с хором льстивых восхвалений
Перед царями станем на колени…

Жуткое ощущение одиночества отличает третью песнь «Чайльд Гарольда» от первых двух. Катаклизмы исторического процесса, вулканические сотрясения земли, «когда вся кровь превращается в слезы», внушают Байрону то чувство ужасающей изоляции, которое превращается чем дальше, тем больше в тягчайшее горе, ибо если малое горе способно об'единить людей, даже не знающих друг друга, то горе огромное приводит к обратному явлению. Повидимому, человек обязан до конца выносить его в себе, не взывая ни к чьему сочувствию, ибо «обычно люди бросаются в сторону при встрече с таким

страшным носителем горя».

Стремление Байрона к уединению все усиливается, и третья песнь «Чайльд Гарольда», гораздо больше чем первая и вторая, превращается в автобиографию. Вместе с тем повышается чувство общечеловеческого горя. Легкий и беспечный тон Гарольда сменяется философическим пессимизмом при оценке активной силы горя и пассивно отрицательного значения жизненных радостей, как простого отсутствия боли и горя. Болезнь, несчастье, порабощение одних людей другими и, наконец, смерть — вот реальность. И только в виде легких обманчивых промежуточных призраков возникают человеческие радости, смешные, жалкие и лживые, как июльское небо, прикрывающее бесконечную пустоту вселенной кажущимся светом солнца.

На некоторых именах Гарольд останавливается. Как можно было ожидать, могила Руссо привлекает его пристальное внимание:

> Руссо — апостол скорби, обаянье
> Вложивший в страсть, безумец, что обрек
> Терзаниям себя, же из страданья
> Власть красноречья дивного извлек —
> Здесь был рожден для горя. Он облек
> Божественно прекрасными славами
> Софизмы лжеучений, их поток,
> По блеску схожий с яркими лучами, —
> Слепил глаза и наполнял слезами.
>
> Любовь была самою страстью в нем;
> Как ствол стрелою молнии спаленный —
> Он был палим высоких дум огнем.

В 1808 году Байрон очень резко отрицал возможность влияния Руссо на организацию его идей. Возвращение к восхвалению Руссо, в этих песнях «Чайльд Гарольда» было типичным для Байрона восхвалением писателя, от влияния, которого поэт вполне освободился. Было ли это особое обаяние природы Швейцарии, Женевского озера, всех мест, связанных с пребыванием Руссо в изгнании, было ли это возвращение к идее человека, стоящего лицом к лицу с огромной природой в тот момент, когда необходимо заново пересмотреть идеи общества и государства перед лицом нового общественного договора, как это сделал однажды Руссо в сочинении, названном этими словами? Возможно, что оба явления душевной жизни Байрона были причинами того, что он так полно и ярко переживал новые

увлечения старым французским философом.

Историки литературы справедливо сравнивают Байрона этих лет с воинствующим рыцарем, странствующим по XIX столетию Европы из года в год и бросающим перчатку вызова правительству и королям, церкви и духовенству. Если сравнить эту роль Байрона, его скитания, его стремление самоотверженно бросаться во все европейские конспирации первой четверти века, его молодое и горячее участие в союзе карбонарских заговорщиков с той трусливостью, которую вечно переживал Руссо, страдавший манией преследования и отразивший это в болезненной униженности своей «Исповеди», то увидим совершенно разные темпераменты. Руссо боялся людей и трепетал перед миром. Зрелище мундира, какого *бы* то ни было, приводило его, беззащитного и робкого философа, в трепет. Что касается Байрона, то он в короткий срок сумел нагнать страх на полицию королевского Лондона, его испугался парижский префект Людовика XVIII, Байрон был предметом дикого и непонятного ужаса для австрийской полиции, для жандармов римского папы, для цензоров царской России.

Во всяком случае слова Байрона относительно Руссо дышат неподдельной искренностью и восхищением.

Байрон заново перечитывает Руссо на берегах Женевского озера, но, повидимому, совершенно преодолевает реакционную сторону руссоизма. Руссо говорит в «Эмиле», книге, посвященной воспитанию нового человека: «Существовать — значит чувствовать, чувствительность предшествует сознанию и оберегает его. Чувство развивается в нас раньше, нежели создалось понятие или идея. Чувство и идея — это предметы тождественные, разница только в способе нашего занятия ими. Когда занятые предметом мы размышляем о себе, то это будет идея, добытая посредством рефлексии, а когда мы заняты получаемым впечатлением, а мыслим о предмете посредством, рефлексии, — то это будет чувство».

В дальнейшем Гарольд отказывается от этой слепой порабощенности чувства, как Байрон в четвертой песне отказывается от Руссо: «Будем же мыслить смело, постыдным отречением от разума был бы отказ от права мыслить. Свободная мысль — это наше последнее и единственное прибежище, по крайней мере для меня это всегда будет так. Хотя со дня нашего рождения и вхождения в человеческое общество способность мысли, как прометеевский огонь, стремятся погасить, бросить в цепи, тюрьму и подвергнуть пыткам. Свободная критическая мысль подавляется, подвергается гонению, ее окружают мраком, чтобы сияние истины не стало доступным миллионам

неподготовленных умов. И все-таки свет разумной мысли станет достоянием всех, ибо время и искусство научат видеть и слепых».

Если Байрон отошел от Руссо, как от писателя, влияния которого он им не отрицал, то о другом французском писателе, герой которого был несомненным предком Чайльд Гарольда, Байрон упомянул только однажды иронической строчкой «Бронзового века». Шатобриан, автдр «Ренэ», был для Байрона только «фабрикантом жития святых».

За два года до смерти Байрона Шатобриан писал в «Замогильных записках» о своем великом современнике: «Мы оба вожди литературных школ — он английской, а я французской. Мы оба путешествовали по Востоку. Пути наши пересекались, но мы никогда не виделись друг с другом. У нас были общие идеи. Почти одинаковая участь, если не одинаковые житейские повадки. „Ренэ“ опередил „Чайльд Гарольда“; Байрон, читающий и цитирующий всех современных французских поэтов, конечно, не может не знать меня. Отчего же он имел слабость ни разу не назвать моего имени? Неужели он боялся, умалить себя в глазах потомства, только, потому, что фара, зажженная на моей галльской ладье, указала кораблю Альбиона пути по морям, не исследованным дотоле».

Поэт реакции, считавший себя профессором монархической науки, писавший для королей пособия по овладению тронами, спаситель христианской религии — Шатобриан невероятно забавен в этой обиде на английского лорда — карбонария, безбожника, за которым международная полиция «священного союза» установила гласное и негласное, наблюдение, едва он успел появиться на континенте. Как бы ответом Шатобриану звучат слова четвертой песни «Чайльд Гарольда»: «Наследственные рабы, разве вы не знаете, что ваша свобода есть ваше собственное дело? Научитесь наносить удары, ибо победа может быть одержана только вашей рукой. Ни галльские герои, ни московские цари вас не спасут, ибо правительства, побеждая друг друга, вовсе не хлопочут о вашей свободе».

Байрон поселился на берегу Женевского озера, на вилле Диодати. Вилла Диодати принадлежала когда-то гуманистическому философу. Диодати когда-то принимал у себя автора «Потерянного и возвращенного рая», Мильтона. Вилла была овеяна преданиями о старинной борьбе швейцарцев за политическую независимость и за свободу совести. Вилла Диодати была выбрана, Байроном не случайно. Четыре месяца провел Байрон на берегах Женевского озера. К этому швейцарскому периоду его жизни относится создание третьей

песни «Чайльд Гарольда». Там написаны были «Шильонский узник» и драматическая поэма «Манфред», именно первые ее части; третья часть «Манфреда» была дописана уже в Венеции.

Освобожденный от связей со своей общественной средой, Байрон с особой силой почувствовал весь трагизм своего одиночества и бесцельной независимости. Он не скрывал от себя наступления того периода, который обеспечивает человеку наибольшую ответственность перед самим собою в качестве единственного контроля. Там, где человек заурядный или талант слабый, или творец случайный литературных произведений мог бы погибнуть, там Байрон, собрав в едином стремлении свои мысли, чувства и волю, сумел возвыситься до истинной высоты гения. В то время, когда толпа наемных провокаторов швыряла камни в стекла лондонского жилища Байрона, поэт читал Спинозу и занимался интереснейшими беседами с новым спутником жизни и другом — поэтом Шелли. Утоление философической жажды делало для Байрона чрезвычайно увлекательным занятие теоремами и королляриями, и схольями Бенедикта Спинозы. И то, что прекрасно и стройно приводит Спинозу к мудрому примирению с миром вещей и явлений, хотя и не приводило Байрона к таким же результатам, но восхищало его поэтическую душу чувством упоения могуществом и красотой природы, занявшей место божества. Философия детерминизма, рассматривающая мир по причинам, а не по целям, мудрое чувство ненужности бунта против мировых законов, отрицание свободы воли в человеке и тонкое наблюдение по поводу того, что сознание своей свободы также является следствием законов природы, как и реальное отсутствие этой свободы, — приводило великого гранильщика стекол и мудреца Спинозу к диаметрально противоположным стремлениям, нежели выводы Байрона из философии Спинозы. Философия Спинозы воспринималась поэтом по преимуществу как «обожествление природы». Законченный атеизм Спинозы, начисто снимающий понятие божества в каком бы то ни было религиозном смысле, не был понят ни Байроном, ни Шелли. Оба они вернули эмоциональную окраску культу природы, и если Шелли во всем — от житейских мелочей и до высочайших моментов интеллектуального созерцания — привык чувствовать себя частью вселенского целого, если Шелли вполне мирился с этой «Природой», то Байрон, поэтически переживая то, что он называл «красотою природы», слишком часто восставал против законов этой природы, ставя себя в положение «бунтующего раба» протич ее великих и грозных сил, ненужных и деспотических мучений человека — песчинки, затерянной среди беспредельных

междузвездных пространств во вселенском холоде, в Заполярье мировой ночи. Отсюда — вся философия «Манфреда».

Окончательная обработка «Манфреда» была осуществлена Байроном только в Риме. «Манфред» появился в печати в июне 1817 года. И, словно по уговору, английская критика сразу начала разбор нового творения английского поэта поисками «источников», собираясь, повидимому, этим способом жестоко уязвить автора. Все сопоставления были для Байрона невыгодны. Все аналогии вместо разбора по существу указывали на то, что Байрон «не имеет ни тени поэтической самостоятельности». «Главный источник Байрона, говорит эдинбургский рецензент, — это история доктора Фауста, написанная Кристофором Марло (1564–1593)». Другие критики с не меньшим усердием доказывают, что Байрон заимствовал «Манфреда» из «Фауста» Гете. Гете как будто сам был склонен допускать влияние своей поэмы на Байрона. Великий германский поэт, переживший Байрона и задолго до появления «Чайльд Гарольда» давший миру «Вертера», писал: «Байрон взял моего „Фауста“, усвоил из него только самую ипохондрическую и странную пищу, но совершенно своеобразно использовал мотивы в соответствии со своими целями, до полного изменения мотивов. Мотивировки „Фауста“ он претворил настолько талантливо, что не могу не выразить моего восхищенного удивления перед умом Байрона».

Надо иметь в виду, что в 1816 году не было намека на вторую, наиболее философическую часть «Фауста», а когда она появилась в окончательной редакции, то Байрона уже не было в живых. Если у Байрона обнаруживается некоторое созвучие с идеями гетевского «Фауста», то Гете использовал для того же «Фауста» образ самого Байрона. Во второй части «Фауста» в пламенном образе Эвфориона, сына Фауста и Елены Троянской, Гете изобразил Байрона «юношей богоподобным, прекрасным и стремительным, сгоревшим в своем вечном под'еме к высотам».

Издание Эриха Шмидта содержит гетевский перевод «Манфреда», остававшийся неизвестным при жизни Гете. Надо сказать, что литературное родство «Манфреда» чрезвычайно велико, если взять внешнюю сторону драматической поэмы Байрона. Герои древних и средневековых легенд о магах, об искателях победы над природой, Фаусты всех национальностей: Фаусты испанские, германские, польские, появившиеся в виде пана Твардовского, русские, вроде Саввы Грудцына, клингеровский «Фауст», впервые напечатанный в Петербурге, Фауст Лессинга, — все это родственники одного и того же героя с прометеевским духом, отважного испытателя средств, отдающих вселенную ему во власть.

Байрон сам указывал на чрезвычайную легкость для любого пошловатого критика найти аналогии и родство, а потом поднять дело о плагиате. Два протеста, написанные по поводу первых двух рецензий на «Манфреда», содержат следующие фразы Байрона:

«Одни говорят, что я заимствовал „Манфреда“ из „Фауста“ Марло, другие обвиняют меня в том, что я украл „Фауста“ у Гете, но чорт бы побрал всех Фаустов английских и немецких. Я ничего ни у кого не воровал. „Фауста“ Марло я не читал вовсе, а гетевского „Фауста“ не имел возможности читать, потому что не знаю немецкого языка. Льюз, один из моих друзей, читал мне впоследствии отрывки из „Фауста“ на берегах Женевского озера вслух. Я был поражен: этим великим творением.

Повторяю, что первая часть „Фауста“ Гете не дает никаких аналогий с „Манфредом“».

Манфред — это олицетворение очень широкой концепции, это не человек, а символическое изображение того страшного крушения всех надежд, которое было пережито выходцами из XVIII столетия, начертавшими на воротах нового века лозунги «свободы, равенства и братства». Когда деятели Конвента с железной волей и гордой поступью ломали перегородки сословий, дерзко уничтожали древние меры пространства и времени, заставляли луну и солнце говорить языком нового календаря, пересаживая в альманахи названия явлений природы, цветение деревьев, созревание плодов, дожди и ливни, снег и бурю, — казалось, что наступила новая юность мира. И вдруг на протяжении немногих лет это поколение гигантов сменилось сумраком контор и прилавков, а дым бивуачных костров революционных войн сменился дымом фабричных труб. Гордый человек XVIII столетия не узнавал себя среди развалин своих идеалов, его вражда обратилась на самого себя, все его чувства вступили в противоречие, поиски господства сменились-новым рабством и, что хуже всего, надежды сменились отчаянием и безнадежностью; самое трудное было — это убежать от страшного собственного сознания. Манфред, случайно уцелевший в уединении огромного замка мира, зовет к себе на помощь олицетворение шести таинственных сил природы. Но их появление не дает ему того, что он просит, ибо разрешением своей внутренней драмы он считает забвение. И наконец, подавленный противоречиями, Манфред стремится навстречу смерти. Случайно встреченный альпийский стрелок удерживает Манфреда в ту минуту, когда он намеревается перейти границу пропасти и так уйти из жизни. Стремление вызвать былые видения также не дает Манфреду облегчения. И только видение старца, сообщившего ему о предстоящей смерти, облегчает

сознание Манфреда. Перед смертью носители исторической религии проходят перед Манфредом, но ни «естественная» религия философа, ни официальная культовая речь священника не вызывают в Манфреде ничего, кроме вражды. И когда появляется дух земли, чтобы погасить огонь сознания Манфреда, он обращается к этому духу с последними словами перед смертью: «Не хочу продлить жизнь ни на мгновенье, я приобрел власть не договором с тобой, а отважным исканием испытующей научной мысли бессонными ночами и духовной силой».

Расцвет индивидуализма в эту пору совпал, для Байрона с тяжелым внутренним кризисом. Все больше и больше замыкаясь в себе, Байрон, как болезни, переживал этот замкнутый индивидуализм. Один из крупнейших германских пессимистов — Шопенгауер, давая анализ замкнутого эгоизма, сравнивал его с крепостью, которую невозможно взять приступом логики и воздействием морали, но, говорил Шопенгауер, эта крепость «обрекает человека на вечное отсиживание; если в нее нельзя войти, то и выйти из нее невозможно». В «Манфреде» Байрон дошел до такого момента, ибо, пережив борьбу с человеческой злобой и ненавистью в Англии, он теперь, оставшись наедине с собой, весь запас неизрасходованных сил бросил на самого себя же. Внутренний мир поэта оказался все же настолько велик, что Байрон легко преодолел в себе эти моменты мизантропической ненависти, иссушающей творческие истоки его собственного гения, и вышел из собственного манфредизма обычным для себя путем — творческой переработки своего внутреннего состояния в могучие поэтические образы, и тотчас почувствовал себя освобожденным.

Некоторыми критиками ставился вопрос о влияния эсхиловского «Прометея» на создание «Манфреда». Шелли переводил Байрону греческие тексты Эсхила. Это было одним из проявлений плодотворной дружбы прекрасного переводчика платоновского «Пира». Шелли с изумительной легкостью постигал сложную отвлеченность мысли Платона, и ему легко было, могущественно владея словом, увлечь за собой Байрона на путь неустанного творческого напряжения и того горения благородной мысли, которое является наилучшей характеристикой швейцарского периода жизни обоих поэтов.

В отличие от того предка Манфреда, которого некоторые видели в шекспировском Гамлете, Байроновский герой не только чужд гамлетовского безволия, но дал людям новый образец

…Твердости души великой,
Сломить которой не могли

Все грозы неба и земли.

Шелли, не меньше чем Байрон, отдавался в эти месяцы творческому горению. Автор «Королевы Маб» и «Восстания Ислама», автор «Прометея» своеобразно откликался в своем творчестве на идеалы Великой французской революции, окрашенные новыми философско-атеистическими исканиями; но он откликался и на современные темы, когда под названием «Эдип-тиран» он дал злую сатиру на Георга IV и на Англию, а в повествовательной поэме «Юлиан и Мадоло» изобразил себя и Байрона блистательным стихом передавая горение философских бесед на вилле Диодати, превратившейся в какую-то лабораторию высших тонов человеческой мысли.

К этому короткому швейцарскому периоду относится еще одно произведение Байрона, именно «Шильонский узник». Замок Шильон находится на берегах Женевского озера. Шелли и Байрон любили посещать это место и ознакомились с историей людей, для которых Шильонский замок был превращен в тюрьму. У Руссо есть в «Новой Элоизе» примечание к восьмому письму шестой книги: «В течение шести лет в Шильоне был узником Франсуа Боннивар, настоятель церкви святого Виктора, человек доблестный, человек испытанной прямоты и твердости характера, друг свободы, хотя он был родом из Савойи, друг веротерпимости, хотя он и носил рясу». Боннивар родился в 1493 году. Не называя его имени, Байрон посвятил Бонниварy, его истории, свою поэму. Много лет спустя, как бы вспоминая о времени, проведенном в Шильоне, Байрон снова возвращается к истории Боннивара и посвящает ему один из лучших своих сонетов, прямо называя героя и устанавливая связь этого имени со своей поэмой.

Швейцарский дневник Байрона, посвященный сестре, более всего указывает на истинные источники «Манфреда», и Байрон сам подчеркивает, что «величие альпийской природы было все-таки самым большим литературным источником моим». А в одном из писем этого года Байрон сообщает: «Гораздо больше, чем какой бы то ни было „Фауст“, меня побудило написать эту поэму («Манфред») зрелище вершин Штаубаха, Юнгфрау, Монблана. К этому я прибавлю кое-что другое».

Байрон был очень встревожен внезапными гонениями на сестру. Он хотел спасти ее от злобной английской сплетни и заблаговременно желал вызвать ее в Швейцарию, опасаясь за ее судьбу. Он был прав. Удар был нанесен именно в эту сторону.

К этому времени относится переписка Вальтер Скотта с Роджерсом. Оба они были неизменными друзьями Байрона и оба не на шутку были встревожены тучей, нависшей над головой поэта. Вальтер Скотт писал: «Злосчастная семейная история дала многоголовые глупости, временное торжество над одной гениальной головой, над великим умом и выдающимся талантом». Байрон не знал размеров угрожавшей ему опасности, он более, чем когда-либо, был беспечен в житейском смысле слова. Сводная сестра жены Шелли, молодая, красивая женщина Джен Клермонт, делала все, чтобы сблизиться с Байроном в Швейцарии. Ее страсть к поэту началась еще в Англии. Теперь она имела все шансы на успех. Байрон дал себя увлечь. Возник кратковременный легкомысленный союз, разрыв которого Джен очень тяжело переживала, тем более, что уже много времени спустя после от'езда из Швейцарии она узнала, что ей суждено было стать матерью. Байрон вторично стал отцом. Девочка Аллегра была его второй дочерью.

Именно в период этого увлечения до Байрона дошли слухи о том, что семья Мильбенк, по чьему-то наущению, стала оперировать против Байрона новым клеветническим измышлением. Был пущен слух, что Байрон совершенно не братски относился к своей сестре Августе Ли. Этот слух, пущенный искусно, рос и увеличивался, словно какой-то рупор превратил этот сдавленный шопот в голос громкой клеветы.

Ужасное чувство охватило Байрона при первом известии об этом измышлении его врагов. Байрон говорит: «Довольно долгое время после моего от'езда я был в неведении о способах действия моих врагов. Но вот до меня дошли слухи о новой их клевете. Мои друзья обязаны были во-время рассказать мне то, о чем они молчали».

Прилив бережной и горячей нежности к сестре в швейцарский период об'ясняется именно этим фактом: дошедшими слухами и стремлением помочь близкому человеку. В известных произведениях — «Стансы к Августе», «Послание» — Байрон опять подчеркивал свои неизменные чувства нежной любви к сестре, просил ее любви и дружбы к нему, «отверженному», не находящему покоя человеку. Все новые и новые толки росли в среде его врагов.

Трещина в семейных отношениях Байрона разрасталась до размеров пропасти между ним и обществом целой страны. Нехватало только литературного оформления этой вражды.

В качестве застрельщика литературной травли вы ступил английский поэт Роберт Соути. Соути принадлежал к поэтам так называемой озерной школы, «лекистам». Соути, Вордсворт,

Кольридж — это все «лекисты». Кольридж и Вордсворт в 1798 году напечатали сборник под названием «Лирические баллады». С этого сборника начинается история английской романтики. Озерниками их прозвали по совершенно случайному признаку: эти поэты любимым местопребыванием избрали озерные долины Кемберлена, где проводили большую часть года В той мере, в какой романтизм, как обновление форм и смена старых канонических тем и сюжетов, вносил свежую струю в английскую литературу, поэзия лекистов была шагом вперед Вордсворт пользовался, огромной популярностью и не сразу уступил свое место Байрону Но романтизм Байрона был тем оппозиционным романтизмом, который коренным образом отличается от реакционной романтики лекистов и от романтизма радикального Надо заметить, что само понятие «романтизм» в ту пору еще не существовало Оно еще только зарождалось где-то на развалинах античного Рима, в среде людей карбонарской Италии, для которых Roma Antiqua был символом старинной доблести и самопожертвования во имя завтрашней освобожденной революционной Италии. В тайном полицейском мемуаре для государственного секретаря римского папы, кардинала Консальви, упоминается «романтическое общество», устав которого предусматривает: «Внушение всем членам общества основного правила — не подчиняться учению религии и нравственности, а следовать естественным законам природы и общества» Полицейский мыслитель сообщает дальше, что центром общества является Милан, а крупнейшим филиалом общества — Болонья, где во главе «союза романтиков» стоит лорд Байрон Этот политический романтизм не имеет непосредственной связи с теми формами литературных исканий, которые под именем романтизма определялись в штампованных историко-литературных пособиях С этой стороны, определяя политическое наслоение романтиков разных школ, мы должны сказать, что на правление лекистов было чисто реакционным. Если мы возьмем биографии лекистов, то увидим в них одну, особенность: в тот период, когда каждый из них переживал увлечение молодой французской революцией, не зная еще, чем она кончится и в какие формы выльется, лекисты вряд ли предполагали, что скоро им придется отказаться от своих увлечений. Торжество контрреволюции во Франции и те суровые кары, которым подвергались сторонники французских революционных идей в Англии, заставили их спешно менять революционные цвета на спокойные и уютные темноватые домашние занавески. Все трое спешно подчищали свои биографии, хотя и, трудно было вычеркнуть сто страниц

печатного текста, которые у Кольриджа назывались «Трагедия падения Робеспьера»; а у Роберта Соути — драма о революционном восстании «Уот Тайлер». Вместе с Кольриджем Роберт Соути собирался даже устроить некий социально-утопический рай в Америке, под названием «Пантосократической общины». Предполагался какой-то революционно-философский союз социальных реформаторов. Все это пришлось очень быстро спрятать, как только конец французской революции и жестокие контрреволюционные законы Англии показали лекистам всю невыгоду их революционных увлечений. Одним словом, если Томас Мур, Шелли и Байрон безбоязненно продолжали выступать со своими прогрессивными воззрениями, то лекистская тройка не переставала бояться своего, сравнительно невинного, прошлого. В стремлении раскаяться и загладить прошлые грехи лекисты выступили чистейшими ренегатами, и это ренегатство позволило им стать застрельщиками литературной травли Байрона.

К этому времени Роберт Соути был проповедником самых диких реакционных взглядов и занимал официальный пост придворного королевского поэта. Нас не может не удивлять то, что в 1922 году один из биографов Байрона (М. Розанов) писал: «Подвергая Соути резким и справедливым нападкам за его политическое ренегатство, Байрон вместе с тем его нравственную личность выставлял в гораздо менее благоприятном свете, чем было на деле. В сущности, Соути был человек почтенный: отличный семьянин, верный друг и замечательно добрый человек. Этими чертами он напоминает нашего Жуковского, который охотно переводил его произведения на русский язык. Теккерей считал Соути образцом истинного джентльмена».

Этот «истинный джентльмен» добровольно принял на себя роль полицейского шпиона. Он поехал в Швейцарию, навестил монтанверский домик в долине Шамуни, в котором жил перед тем Шелли, и срисовал написанную на стене греческую надпись Шелли: «Я человеколюбец и атеист». Послав донесение об этих строчках в Лондон, Соути поехал в Женеву, оплатил из своих литературных гонораров горничных в гостинице Сежерон, созвал вечером кельнеров в ресторане, садовников и лодочников около виллы Диодати, собрал от них все сведения и толки о Байроне и Шелли и после этих подвигов «истинного джентльмена» Роберт Соути отправился в Лондон с багажом скандальных сплетен. Оказалось, что Байрон и Шелли предаются неслыханному разврату, оба «женаты на родных сестрах», — двусмысленность этой фразы, как нарочно, затемняла истинное положение вещей: Джен Клермонт и Мери Годвин действительно были сестрами, но не Байрона и Шелли.

Английские путешественники, ловкие журналисты, присяжные собиратели сплетней набросились на Байрона, считая, что его можно оскорблять безнаказанно. Они врывались к нему в жилище в любое время с наглостью, доводившей Байрона до бешенства, они размещались на изгороди его сада, они взбирались на деревья, росшие на уровне окон его спальни, а если их прогоняли, то они с биноклями и подзорными трубами располагались на противоположном берегу, на лодках подплывали к ступенькам виллы и не давали Байрону покоя. Нужна была поистине героическая сила воли, чтобы выдержать это давление человеческой пошлости и наглых издевательств.

Репутация кровосмесителя преследовала Байрона всюду, где он появлялся. Когда Байрон приехал в Коппе навестить писательницу, госпожу де Сталь, находившаяся у нее старая богобоязненная англичанка Гервей упала в обморок, как только вслед за докладом лакея черноволосая голова Байрона появилась в разрезе портьеры. Байрон со смехом рассказывал об этом: «казалось, она увидела во мне собственную персону его сатанинского величества». Американская писательница Бичер Стоу в конце тридцатых годов сообщает со слов самой леди Байрон историю о преступных отношениях Байрона к его сестре Августе Ли. В 1869 году вышла книжка «Медора Ли». Это один из многочисленных пасквилей на Байрона, но книжка эта подтверждает, что высоконравственная леди Байрон не постеснялась заявить своей племяннице, дочери Августы Ли — маленькой Медоре, что она вовсе не дочь полковника Ли, а дочь Байрона. Мало того, леди Байрон, сообщив напуганной девочке это дикое известие, обещала дать ей денег и обеспечить ее заботами. Но, смутив покой ребенка, леди Байрон удовольствовалась обещанием и денег не дала. После смерти Байрона появился еще один документ: лорд Ловлес (Ада, Байрон вышла замуж за одного из Ловлесов) выпустил памфлет под названием «Астарта». Взята это имя финикийской богини, любви, приведенное Байроном в «Манфреде», Ловлес доказывает, что байроновская Астарта является портретом Августы. Далее памфлет сложно и путанно рисует картину «астартической связи» Байрона.

В 1869 году в журнале «Quarterly Review» появились семь писем леди Байрон, написанных в разные сроки между разрывом с мужем и его смертью. Все письма адресованы Августе Ли, все они переполнены льстивыми выражениями по адресу сестры своего мужа и все они доказывают, что история, о байроновских грехах была навязана госпоже Байрон со стороны и что она сама только делала вид, что верила им. Под конец она, повидимому,

уверовала настолько, что сама охотно шла на собственный обман. Для историка становится ясным только одно, что в поисках способа повредить Байрону она способна была поддерживать любую клевету против него. Она охотно кидалась к мысли о душевном расстройстве Байрона, а когда этому верили и его оправдывали, то внезапно настаивала на полной вменяемости своего мужа и на необходимости судить его как носителя злой воли. Все эти искусные хитросплетения носили весьма целеустремленный характер, и если отбросить степень сознательного действия участвовавших здесь лиц, — это была политическая реакция общества тогдашней Англии и его правящей верхушки по отношению к человеку, ставшему опасным.

Миланские встречи. Итальянские карбонарии. Венецианские поэмы

Шелли, Мери Годвин и Джен Клермонт 29 августа 1815 года уезжают из Швейцарии на север, а по прошествии месяца Байрон в сопровождении своего друга Гобгоуза, слуги Флетчера и доктора Полидори отправляется в новое путешествие по Бернским Альпам.

Настроение Байрона после швейцарского периода не прояснилось. Наоборот, он почувствовал, что закончился, завершился круг философических размышлений, что жизнь бросила его снова из творческого уединения в вихрь и водоворот бытия, и снова он устремился из города в город, из страны в страну. Недаром фантастическую поэму «Моряк-скиталец» Кольриджа считают изображением скитальческого духа Байрона. Матрос убил прекрасную морскую птицу альбатроса. Товарищи по морским путешествиям вешают на шею убийцы тело убитой птицы. И вот в этом неуклонном романтическом виде герой Кольриджа должен скитаниями искупить свое преступление. Многие увидели в этом намек на Байрона, причем не могли разгадать, кого Кольридж изобразил под видом убитой птицы. Одни говорили, что это муза самого Байрона, другие — более «опытные»— доказывали, что этот альбатрос олицетворяет собою леди Байрон. Судьба героя, осужденного на вечное скитание за совершенное преступление, была все-таки легче для Байрона и безвредней, чем обыкновенные житейские преследования, стремившиеся отравить его страннические будни.

Отголосок тяжелых настроения Байрона обнаруживается в большом стихотворении, написанном на смерть Шеридана.

Шеридан умер в Лондоне 7 июля 1815 года. Байрон тяжело переживал его смерть. Знаменитый драматург и крупный политические деятель уже задолго перед смертью переживал крушение политической карьеры. Блестящий парламентский оратор, человек острого сатирического ума, когда-то великодушный, бескорыстный и сильный, он все больше и больше запутывался в денежных делах; его парламентские выступления создали ему много врагов, которые использовали эту путаницу. Говорили о том, что Шеридан получает деньги на организацию предвыборных кампаний и что эти деньги фактически идут на уплату его личных долгов. Все эти слухи дошли до Байрона, и его «Монодия на смерть Шеридана», отражает горькую обиду за судьбу таланта, судьбу, которая во многом походит на его

собственную.

Целью путешествия Байрона была Италия. Так же как проезд через Францию, так и путь через австрийские границы не предвещал Байрону гостеприимства, и только чрезвычайная осложненность политической ситуации тогдашней Италии открыла Байрону возможность избрать Италию местом своего творчества. Байрон стремился в Венецию. Воспоминания о впечатлениях Востока делали для него особенно привлекательными приморские города Италии, сохранившие на себе, каждый по-своему, колорит торгового Востока — Леванта. Города Средиземного моря, как большие дороги мировой истории отразили на себе угасание и расцвет старинной торговли. Если такие города, как Генуя, еще сохраняли во времена Байрона значение европейского порта, то Венеция, переставшая быть торговыми воротами Европы, ведущими к азиатскому Востоку, после открытия Америки превратилась в мертвый город, в город-призрак.

Стремление Байрона к восприятиям красивых зрительных впечатлений манило его в Венецию, но он помнил, что Италия 1816 года была населена людьми, испытавшими на себе австрийский гнет, давление власти итальянских Бурбонов и наполеоновские войны.

Период революционных войн (1792–1815) был периодом, всколыхнувшим общенациональное чувство итальянского населения, достигшее наибольшего развития в период организованного грабежа, которому подверг Италию Наполеон Бонапарт. Если перед этим в Италии было свыше десяти независимых друг от друга владении, если люди, говорящие на одном языке, но разделенные маленькой речкой, по берегам которой разные австрийские принцы по-разному ими управляли, почувствовали, наконец, необходимость об'единиться, то, конечно, одним из толчков к атому была полная перестройка границ под влиянием французской революции и вторжения французских войск. Надо всем возвышались две аристократические республики — Генуя и Венеция. Далее, по степени политической их самостоятельности, шла Романья, или область римского папы, с полицией и жандармами в рясах. Потом шли семь государств — герцогства и королевства, очень разные по величине, по степени политического влияния и самостоятельности. Из них только одно Сардинское королевство, т. е. Савойя, Пьемонт и остров Сардиния, находились под управлением итальянских властителей. Что касается других, то все эти бесчисленные герцогства и королевства были резервами сдельных владений безработных принцев и государей северной

Европы. Их отдавали в распоряжение то австрийского, то бурбонского королевского дома. Сицилия в течение этого периода четыре раза становилась жертвой династических переворотов, и как правило все скандальные происшествия с кражами и растратами в королевских семьях, все брачные контракты королей и разводы герцогов отзывались на положении горожан, ремесленников и крестьян Италии.

В период наполеоновских войн первые прокламации и декреты Наполеона несли с собой такие обещания итальянскому населению, о которых к этому времени сама Франция не смела мечтать. Генерал Бонапарт, полагая, что все средства хороши, обещал направо и налево столько всевозможных счастливых преобразований, что мелкобуржуазная молодежь Италии кинулась под его знамена: уничтожение сословий, восстановление единой Италии под республиканским флагом, облегчение гнета религиозных учреждений, передел земли, сложение налогов и прощение недоимок, а главное — ликвидация ненавистного австрийского гнета. Сердце не выдержало, голова закружилась у самых трезвых итальянских политиков.

В 1794 году генерал Бонапарт начал завоевание Италии, а в 1797 году он захватил Венецию. И если вхождение в Милан веселых революционных войск, еще несших в сердце великие идеалы Конвента, сопровождалось неожиданным взрывом бодрого и жизнерадостного ощущения, если побег последнего жандарма и исчезновение последнего попа радостно приветствовалось всеми жителями Милана, то на примере Венеции мы видим, во что фактически превращалась власть первого консула Бонапарта. Когда маленький французский корабль проходил мимо венецианской крепости на Лидо, неосторожный комендант крепости выстрелил из пушки. Это дало Наполеону повод об'явить войну Венеции. Сенат Венеции собрался последний раз. Решили предложить Бонапарту деньги, — нахмуренный генерал замахал руками: «Нет, нет, если бы вы даже усыпали весь прибрежный песок венецианских лагун золотым покровом червонцев, если бы даже вы предложили мне все золото мира, — я не могу принять его за кровь свободных французских граждан». Это звучало очень красиво. Старики в венецианском совете были напуганы. Сенаторы, поспешно подбирая полы, разошлись по ступенькам дворца дожей, а веселый и беспечный дож, как говорят, входя в свои покои, снял с головы шапочку, символ своей власти, и, швырнув ее лакею, сказал: «Возьми-ка. Больше не понадобится».

Четыре дня спустя французы вошли в Венецию. Народ с

ликованием и музыкой сажал деревья свободы по тому же обряду, как и во Франции. Пели «Карманьолу», перед замками выносили дворянские грамоты и долговые записи простолюдинов и жгли их на кострах. Перед дворцом дожей сожгли золотую книгу венецианского дворянства и шапочку венецианского дожа, а кузнецы и металлурги Венеции в тот же день по предложению французского комиссара заменили евангельский текст под пятою льва св. Марка и на страницах бронзового евангелия выгравировали первую страницу «Декларации прав человека и гражданина». С горящими глазами молодая Италия следила за этим зрелищем.

С доверием и с надеждами на новую, неслыханную свободу пришел во французскую казарму молодой рыжеволосый гигант Уго Фосколо, блестящий автор трагедий, чудных итальянских стихов, увидевший спасение Венеции от австрийского ига под революционными французскими знаменами. Судьбу этого человека испытали многие итальянцы, и так же, как он, они дорого заплатили за короткий хмель этого увлечения.

Не сразу Италия почувствовала, что метла, выметающая австрийское иго, «чисто метет» и выметает итальянскую свободу. Временное правительство, учрежденное Бонапартом в Венеции, просуществовало всего лишь несколько месяцев. За красивыми словами циничный французский генерал прятал чисто грабительские намерения. Французская буржуазия имела в лице Бонапарта замечательного приказчика, который, пользуясь правами военной диктатуры, успешно пополнял дефициты французского послереволюционного бюджета. Приток контрибуций был главным источником французского казначейства в эти годы. Война из самозащиты французского Конвента превратилась в акционерное предприятие крупнейших буржуазных авантюристов, и как только, Бонапарту представилась возможность выгодно помириться с Австрией, Наполеон продал Венецию австрийскому императору 17 октября 1797 года в Кампо-Формио.

18 января 1798 года австрийские войска вошли в Венецию. «Лев св. Марка снова „перевернул страницу“», — писал Уго Фосколо, — но не вперед, а назад. Снова евангельский текст заменил собою «Декларацию прав человека и гражданина». Уйдя в подполье, бонапартовский офицер Уго Фосколо громил Наполеона в прозе и стихах, он выпустил свои «Орационы» — собрание лучших прокламаций, беспощадно изобличавших Бонапарта, изображавших этого предателя в таких язвительно-сатирических тонах, что ставший в 1804 году императором Наполеон счел необходимым потребовать голову Уго Фосколо,

оценив ее в очень большую сумму. Это не Помешало появиться прекрасной книге карбонария Уго Фосколо — «Последние письма Джакопо Ортиса». Судьбу Уго Фосколо переживали многие, как только Италия была поделена между представителями реставрированных Наполеоном династий И его собственной родней. Шурин Наполеона Иоахим Мюрат сделался королем неаполитанским, пасынок Наполеона Евгений Богарнэ сделался вице-королем Италии и засел в Милане. Наконец, рахитичный сын Наполеона в пеленках был назван римским королем. Самого римского папу Наполеон еще безжалостно таскал в карете, заставляя путешествовать то на Ривьеру, то в Париж на собственную коронацию. Так было до тех пор, пока падение Наполеона и общеевропейская реакция не привели к тому моменту, когда в Риме полностью было восстановлено господство папы, а в 1814 году, в качестве помощи римской церкви, был осуществлен иезуитский орден, упраздненный в 1773 году. Теперь этот секретнейший аппарат римской церкви был восстановлен полностью, с возвращением ему колоссальных богатств и имуществ, со всеми ухищрениями, осуществляющими его господство, с его манерой действий по принципу «цель оправдывает средства». Европа вступила в полосу страшнейшей реакции. Была организована международная тайная полиция «священного союза». Практически все это привело к тому, что возникшие в двадцати городах революционные вспышки были погашены и не имели успеха.

О том, как все эти события отражались в Италии, мы можем судить уже по одному тому, что войнами Бонапарта в течение одного года было срезано все ее молодое поколение. В феврале 1812 года с весельем и музыкой двадцать семь тысяч итальянцев, отпраздновав карнавал в Милане, вышли в русский поход. Из него снова под знаменами собрались в декабре семьсот пятьдесят человек, остальные погибли. Следующий набор дал Наполеону тридцать тысяч молодых людей, — в ноябре 1813 года через Альпы возратилось две тысячи четыреста. Из тридцати тысяч; итальянцев, досланных в Испанию Наполеоном, только семитысячный отряд с трудом вернулся через Лиренеи. Вот все, что осталось от цветущего, полнокровного, молодого и здорового итальянского населения в возрасте двадцати лет. Не было семьи без траура, не было матерей без горя. Ратники почетной стражи французского императора, гвардейцы из знатнейших княжеских фамилий Италии пострадали в этот раз в русских снегах вместе с крестьянами, садоводами и батраками.

Если давно уже братья Верри в Милане составили кружок под названием «Кофейня», из которого вылетали первые

прокламации, об'единявшие итальянцев, то теперь национальное чувство людей, говоривших на одном языке и раз'единенных таможнями, рогатками и заставами, смысл которых был окончательно потерян и скомпрометирован, дошло до своего апогея. В одной из таких листовок было напечатано: «В городе Милане появился человек, который к общему удивлению всех присутствующих имел наглость назваться не миланцем, и не сардинцем, и не пьемонтцем, и не туринцем, и не савойцем, и не сицилийцем (мы опускаем все последующие перечисления, приводимые в песенном стихотворном размере. — *А. В.*)… он заявил, что его наименование даже не *форестьер* (иностранец), он заявил, о ужас! что он просто *итальянец*». Листовка эта вызвала большое волнение австрийских и французских властей. Припомним, что это было Время, когда за итальянский язык в канцеляриях и на австрийской службе грозила тюрьма, а, за мечты о национальном освобождении — пожизненная каторга в сицилийских рудниках или смерть в монтуанских колодцах. В такой обстановке возникло очень своеобразное национально-политическое явление, известное под именем *карбонаризма*.

Карбоне — по-итальянски — уголь, карбонарий буквально значит — угольщик. Полагают, что в лесах и горах Калабрии, в Абруццо, где был сильно — развит промысел угольщиков, в этих лесных избушках впервые укрывались участники тайного политического общества, стремившегося к уничтожению политического деспотизма во всех его видах, к установлению свободных демократических учреждений во всем мире и прежде всего в Италии, освобожденной от иноземного ига.

Организованные наподобие старых масонских союзов карбонарии к концу первой четверти XIX века насчитывали в своих рядах свыше шестисот тысяч членов. Декрет неаполитанского короля Мюрата 4 апреля 1814 года устанавливал смертную казнь за простую принадлежность к карбонаризму. Поэтому целый ряд карбонарских организаций возник под другими именами. Такими были миланский «Союз Орфеев», в котором под видом и параллельно музыкальным занятиям осуществлялась тайная политическая работа при участии скрипача Паганини. Такими были организации литературные, вроде «Кончилиаторы» в Милане, где под руководством Федериго Конфалоньери произошло соединение североитальянских карбонарских вент. Филиалом этого кружка в Болонье выступило «Сочиета романтика»— романтическое братство, во главе которого стоял Байрон. В дальнейшем Байрон возглавлял и другие карбонарские организации на севере Италии. Вента — это была первичная ячейка карбонарских союзов; далее

выступали уже такие, как баракка, буквально значит — хижина, т. е. место, где происходило заседание; во главе организации стояла верховная вента, об'единявшая собой областные, и, наконец, общеитальянские карбонарские организации.

Окружение, которым пользовались карбонарии в целях конспирации, их аристократические союзы и показная дружба с представителями римского духовенства и высокой австрийской полиции говорят о большом политическом опыте карбонаризма. В Милане, в Большой опере Ля Скаля, где богатые люди и представители староитальянского дворянства имели собственные ложи, была ложа Людовико Брема. Это был сын католического духовника вице-короля Италии. Он собирал у себя в гостиной представителей тогдашнего света, у него бывали германские философы, английские путешественники, испанские революционные генералы, попавшие в опалу, у него бывали итальянские поэты Монти, Пеллико и другие. У него в ложе, состоявшей из пяти комнат, из которых только одна примыкала к зрительному залу театра, каждый вечер собирались лучшие люди Милана И, пользуясь высоким общественным положением Людовико Брема и некоторых его гостей, говорили свободно, не оглядываясь на представителей австрийской полиции и на папских шпионов.

Там же бывал Анри Бейль (Стендаль), только что начинавший свою литературную карьеру, быстро сросшийся с интересами итальянского народа и кинувшийся в об'ятия карбонаризма. Ему мы обязаны сведениями о многих деталях, рисующих образ поэта и интересы его в Италии{Я дал перевод этих воспоминаний в № 7 «Красной Нови» 1933 г. — А. В.}. Образ Байрона, нарисованный пером неподкупного художника-реалиста, чрезвычайно ценен. Свои воспоминания о Байроне Стендаль писал через шесть лет после смерти поэта, в год, когда озверелая английская реакция клеймила этого величайшего гражданина своей страны как сатаниста и врага человеческого рода. По дороге из театра, при свете факелов, по ночным улицам Милана до маленькой гостиницы «Дадда», на кровле гигантского островерхого, сотканного из мраморных кружев Миланского собора — развертывались их беседы о судьбе Италии. В Альразианской библиотеке Байрон с увлечением читал письмо дочери папы Александра VI, Лукреции Борджиа, кардиналу Бембо, в галлерее Брера он впервые почувствовал увлечение итальянским искусством, особенно живописью.

Ознакомление с жизнью Италии столкнуло Байрона со странным поведением некоторых влиятельных людей. Так было с известным итальянским поэтом Монти. Старый поэт Монти читал

в присутствия Байрона поэму «Маскерониана», посвященную итальянскому поэту-атеисту, политическому деятелю и математику Лоренцо Маскерони, умершему в 1800 году, «Маскерониана», написанная Монти, была проникнута республиканским духом и той особой риторической высотой прекрасного итальянского стиха, которая в устах Монти обладала способностью заражать слушателей высокими чувствами, нисколько не будучи выражением авторского миросозерцания. Байрон с наслаждением слушал звучные итальянские стихи, хотя и казалось ему странным, что конец поэмы посвящен египетскому гению — Наполеону, изображенному простым гражданином, солдатом свободного народа, который громит беспутных тиранов и разбивает цепи плачущих народов.

Египетский гений Бонапарт в 1816 году уже проживал в качестве заштатного императора на острове св. Елены, и в памяти Италии он оставил, главным образом, осиротевшие семьи, списки контрибуций, ограбленные галлереи и продажу с молотка Ломбардо-Венецианской области. Байрон обратил на это внимание Монти. Байрону возражали, что с уходом французского оружия, с водворением иезуитского ордена папская полиция запрещает освещение в Риме улиц и принесенное Наполеоном оспопрививание, считая, что эти якобинские выдумки опасны для авторитета римской церкви. Все это заставляет оценивать положительно пребывание наполеоновских войск в Италии.

Скоро Байрон с удивлением узнает о том, что прибытие войск Павла I с фельдмаршалом Суворовым в Милан вызвало столь же восторженные стихи Монти, хотя генерал русского царя при в'езде кардинала в столицу Ломбардии стал на колени перед ослом, на котором сидел кардинал, и, целуя руку католическому епископу, громко заявил о том, что русский царь приказал солдатам восстановить власть римского папы и прогнать нечестивых французов.

При следующих посещениях миланского общества Байрон делал все, чтобы не встречаться с Монти. Старик был очень огорчен, когда до его сведения довели фразу Байрона, сказанную намеренно резко о парнасском Иуде-предателе, продающем за кроны, франки и рубли итальянскую свободу.

В Милане был заложен фундамент — всех будущих литературных связей Байрона с Италией. Байрон выступает в качестве переводчика итальянских поэтов, итальянцы деятельно приступают к переводам Байрона, и надо отметить ту удивительную быстроту, с какой Байрон овладел итальянским языком. Только очень горячее чувство к чужой стране, только очень живая связь с людьми этой страны может об'яснить то, что

Байрон, с трудом усваивавший латинский и греческий языки на школьной скамье, с такой легкостью сделал своим родным итальянский язык.

11 ноября 1816 года Байрон приехал в Венецию. Здесь ждала его английская почта. Она была неутешительна. Дело о разводе, вырезки из газет — все говорило о том, что чем дальше, тем острее становится вражда к поэту со, стороны английского общества. «Я ношу в себе пытку, к которой ничего уже не прибавишь», — писал Байрон. После швейцарского уединения, нарушаемого лишь наглыми вторжениями шпионов-туристов, Байрон, живя в Милане, впервые отдыхал, общаясь с людьми, которые видели в нем не гонимого политического деятеля и не человека, которого можно безнаказанно оскорблять и ненавидеть, а величайшего поэта и представителя огромной интеллектуальной силы. В Милане перед Байроном развернулась могущественная и прекрасная культура Италии; но вот от огромных серых конвертов с газетными вырезками и письмами, не предвещавшими ничего доброго, снова повеяло Англией.

Совершенно очевидно, что Байрон хорошо знал состояние Англии 1816 года, — запрещение союзов, голод и нищета рабочих, дети которых, еще до наступления девятилетнего возраста, попарно запряженные в вагонетки, возили уголь, приостановление закона о неприкосновенности граждан, манчестерское шествие на Лондон, восстание ткачей в том же Ноттингеме, листовки Коббета со словами: «Война, восстановившая Бурбонов и инквизицию, ввергла страны в нищету, небывалую в истории человечества», слова министра Каннинга: «Никогда Англия не была в столь опасном положении». В Англии продолжались волнения, а правительство ежедневно придумывало новые способы репрессий. Чем сильнее было применение билля о казни рабочих, против которого выступал Байрон 28^ февраля 1812 года, тем шире и шире развертывали свою агитацию Вильям Коббет и Гент.

В 1816 году Коббет обходит закон о высоком штемпельном сборе на листовки и газеты. Без предупреждения он превращает свою газету в «политический журнал» и 15 мая 1816 года выпускает его шестидесятитысячным тиражом. После первых трудностей, уже много лет спустя, Коббету удалось заговорить полным голосом, и то, что он не сумел сказать в этом журнале в 1816 году, он произнес уже незадолго до смерти, когда его убеждали в том, что — «пиво и сало на столе рабочего» являются мерилом государственного благосостояния. Коббет ответил в «Ежедневном политическом журнале»: «Да, я согласен. Если прибавить к пиву и салу хлеб, одежду, обувь, стекла в окнах,

постельное белье, уборные в каждом доме. Ненавижу вас, либералы, болтающие о духовных благах, когда у вас на глазах рабочие мрут с голода и стонут от нищеты».

Припомним, что в ответ на речь Байрона в защиту луддитов через двадцать дней появилась прокламация за подписью принца-регента, впоследствии Георга IV. Ни слова не говоря о том, что во всех городах десятки виселиц увешаны рабочими-ткачами, принц-регент призывал население к спокойствию, обещал снисхождение и награду тем, кто будет выдавать зачинщиков луддитского движения. «Секретный комитет фабрикантов по борьбе с разрушителями машин и стригальных рам» не брезговал никакими средствами для устранения участников луддитского движения. Располагая большими средствами, этот «секретный, комитет» не довольствовался правительственными войсками. Фабрикант Картрайт и фабрикант Горсфольс назначали премии до двадцати тысяч рублей за выдачу рабочих организаторов и еще большую сумму за убийство вожаков. Картрайт нападал на рабочих, став во главе отряда «золотой молодежи».

Борьба луддитов приняла чрезвычайно ожесточенные формы: из первоначальной борьбы против машин она вылилась в борьбу против капиталистов, вырастая впоследствии до размеров борьбы за экспроприацию орудий производства и превращение машин в мощные средства раскрепощения свободного человеческого труда в бесклассовом обществе. Но в те годы, когда правительство Кестльри стремилось бросить силу английского капитала на борьбу с идеями французской революции, «луддиты кричали на митинге луддитских организаций в Галифаксе о том, что „все средства хороши для того, чтобы обессилить богачей, вампиров, ожиревших от пота и крови рабочих, ибо хозяева, вводящие эти новые машины, хотят задушить нашими руками французскую свободу. Да здравствует борьба против угнетателей! Да здравствует демократия Англии!“» Эти слова были сказаны луддитом Бейнесом в марте 1812 года.

«Требуется известное время и опыт, — пишет Маркс, — чтобы рабочий научился отличать машину от ее капиталистического применения и вместе с тем переносить свои нападения с материальных средств производства на общественную форму их эксплоатации». («Капитал», т. I, стр. 408–409. ГИЗ, 1932 г.).

Недаром Ленин писал в статье «Третий Интернационал и его место в истории»: «Когда Франция проделывала свою великую буржуазную революцию, пробуждая к исторически новой жизни весь континент Европы, Англия-оказалась во главе контрреволюционной коалиции, будучи в то же время капиталистически гораздо более развитой, чем Франция. А

английское рабочее движение той эпохи гениально предвосхищает многое из будущего марксизма». (Собр. соч., изд. 3-е, т. XXIV, стр. 249).

Английская буржуазия была, пожалуй, самой настороженной и хитрой буржуазией Европы, а консерватизм тогдашней Англии примял форму контрреволюционного озверения.

Выступление Байрона в защиту ткачей не забывалось ни на минуту. Да и вообще в поэзии Байрона угадывали революционное влияние на рабочие массы Англии. Впрочем, еще Энгельс в «Положении рабочего класса в Англии» отметил, что «Шелли, гениальный пророк *Шелли*, и *Байрон* с чувственным пылом и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего читателей среди рабочих». (Собр. соч., т. III, стр. 520). Вот почему бдительность буржуазного окружения и активность консервативной власти сделали все, чтобы ничтожный факт семейного спора члена верхней палаты раздуть до размеров скандала.

Правящие классы Англии задались прямой целью задушить живого человека, довести его до самоубийства. Байрон слишком хорошо это знал, чтобы поддаться на провокацию. Он неоднократно в письмах заявляет о своем презрении к самоубийству, а на письма о смирении отвечает 24 декабря 1816 года письмом Томасу Муру. Он описывает Венецию, свое путешествие, свои приключения и потом переходит к стихам, написанным забавной танцующей строчкой:

Ну, как ты существуешь,
Милейший Томас Мур?..

Но внезапно этот песенный тон обрывается на восьмой строчке. Поэт резко спрашивает, что нового в среде луддитов, что делают лорды, что делают лютеране в политике, сдвинулся ли вопрос о реформах, что делают ткачи, разрушители рам? — и, закончив эти вопросы, он внезапно вписывает стихи, как бы сочиненные экспромтом:

Как за морем кровью свободу свою
Ребята купили дешевой ценой, —
Так будем и мы: или сгинем в бою,
Иль к вольному все перейдем мы житью,
А всех королей, кроме Людда, — долой!

Когда ж свою ткань мы соткем и в руках
Мечи на челнок променяем мы вновь, —

Мы саван набросим на мертвый наш страж,
На деспота труп, распростертый во прах,
И саван окрасит сраженного кровь.

Пусть кровь та, как сердце злодея, черна,
Затем, что из грязных текла она жил,—
Она, как роса, нам нужна:
Ведь древо свободы вспоит нам она,
Которое Людд насадил!

Так Байрон заканчивает письмо к Томасу Муру. Комментаторы по-разному об'ясняют цели помещения в этом письме песни, написанной для восставших луддитов. Вернее всего об'яснить это тем, что Мур переписывал письма Байрона, а потом они ходили по рукам. Этим способом Байрон хотел довести до восставших ткачей новую песнь. Появилась она в печати только в 1830 году, через шесть лет после смерти Байрона.

Следующие письма Байрона являются сплошной жалобой на то, что «из Англии я ничего не получаю и ни о ком ничего не знаю».

Трудно определить, чем был вызван этот внезапный перерыв почтовых сношений Байрона с Англией. В Венеции был английский консул, сношения с Англией не прерывались, и однако во всех изданиях Байрона заметен этот пробел в его переписке и дневниках. Повидимому даже письма Томаса Мура и те не в полном виде доходили до Байрона. Таким образом, после первых чрезмерно богатых английских политических и бытовых впечатлений наступил перерыв. «Я ненавижу нацию и нация ненавидит меня», — говорит Байрон. Он прилагает все усилия к тому, чтобы довести себя до самозабвения венецианскими развлечениями, но достаточно взять хотя бы приведенное выше письмо к Томасу Муру от 24 декабря 1816 года, и станет ясно, как бурно врывается в венецианский карнавал совсем другая песня.

Все же венецианская атмосфера тогдашних лет оказала на Байрона губительное влияние. Венеция к этому времени представляла собой, по существу, гигантский ресторан с отдельными кабинетами, непристойную кофейню европейских туристов, где эпигоны патрицианского купечества, ломавшие хребты своим соперникам на рынках Африки, Палестины и Индии, перемешивались в игорных домах с авантюристами разного масштаба, стекавшимися в Венецию после падения венецианской аристократической республики. В Венеции довольно трудно было встретить итальянца из обыкновенной

трудовой семьи. Там мы видели или шпионов австрийской полиции под видом разносчиков почты, или иезуитов под видом гондольеров, или какого-нибудь темного дельца под видом крупье в игорном доме. Там были мастера своднического ремесла, были политические шантажисты и, наконец, владельцы дворцов, трижды перекупленных и перепроданных, — обветшалые представители старой венецианской знати, растерянные, усталые, по павшие в лапы цепких авантюристов вроде Казановы, Калиостро или других молодцов того же типа.

Как это ни странно, все историки литературы описывают Байрона в Венеции, не считаясь с тем, что представляла собой сама Венеция 1816–1817 годов. Байрон не принадлежал к числу тех, кто приходит в игорный дом ради простого наблюдения, и, конечно, Венеция тогдашних лет нисколько не напоминала ни кабинет философа, ни лабораторию химика. Байрон не ощущал этот город как исправительное заведение. В порядке об'яснения его поведения, которое является об'ектом трактовки по крайней мере трехсот-четырехсот брошюр и книг, мы обязаны признать, что Венеция не является блестящей страницей биографии Байрона, и все-таки, как читатель увидит в дальнейшем, этот период жизни Байрона, обусловленный временным, но полным отрывом от действительности, сопровождался огромным и напряженным трудом, в результате которого мы имеем блестящие достижения его поэтического гения.

Бичер Стоу и Баррингтон буквально в одних выражениях пишут: «Разврат и цинизм Байрона дошли до невероятного размера и погубили его дарование. Венеция положила начало его умственному и моральному падению. Начиная с этого времени язык Байрона стал едким и пошлым. Его письма к Меррею и Муру утеряли всякую литературность». Могут ли они иначе оценить Байрона, когда именно в письме к Муру написана боевая песня для восставших луддитов…

Сам Байрон действительно характеризовал Венецию как приморский Содом, город библейского греха, город соблазна, город его собственного житейского падения. О Венеции того времени рассказываются чрезвычайно характерные и печальные повествования. Но как это ни странно, именно этот город, где золотая молодежь венецианской знати соревновалась со случайными европейскими авантюристами в прожигании жизни, был тем городом, в котором жили Буратти Уго Фосколо и другие большие и серьезные люди, боровшиеся за дело всеитальянской свободы. Гоббес за это время вместе с Байроном подготовлял исторические справки об Италии для четвертой песни «Чайльд Гарольда». 16 июня' 1817 года во время пребывания в Венеции

выходит издание «Манфреда». В переписке с сестрой Байрон указывает на то, что ему опротивела тоска, он пишет: «Протестантский проповедник, смотря на улыбающиеся лица прихожан, воскликнул в ужасе: „нет надежды для тех, кто смеется“, — так и со мной, сестрица: я смеюсь слишком много, вместо того, чтобы питать в сердце надежду на божественное спасение. Дело обстоит так, что я не имею права впадать в уныние, если имею возможность предупредить его любыми средствами».

Байрон забавлялся. Дом, избранный им для жилья, принадлежал суконщику Сегати. Внизу была его лавка, где он, Сегати, отмерял на старые локти проданные за месяц цветные сукна. Жена Сегати — Мариана, молодая женщина при старом муже, заявила английскому путешественнику, что только с приездом его она узнала впервые любовь. Начались декамероновские приключения Байрона с теми «ужасными баталиями женщин, стремившихся добиться предпочтения», которые так захлебываясь описывают старые сплетницы Баррингтон и Бичер Стоу.

Байрон пишет Муру по этому поводу: «Я погрузился в любовь — бездонную любовь, но чтобы вы не промахнулись и не усмотрели с завистью во мне обладателя какой-нибудь княгини или графини, любовью которых наши английские туристы склонны гордиться, разрешите вам заявить, что моя богиня это только купеческая супруга — жена „венецианского купца“.»

Байрону было двадцать девять лет, Мариане двадцать два года. Между ними не было ничего общего, кроме того, что Байрону хотелось забыть старую Англию, а Мариане старого супруга, за которого ее выдали насильно. Из всех перспектив, стоявших перед Байроном, он выбрал перспективу этой связи, которую он так об'яснял Муру: «Любовь наилучшая или наихудшая вещь, которую я сейчас могу сделать. Кроме этого есть только одна возможность: броситься в канал. Но это бесполезно, так как я хороший пловец».

К разряду таких же нелепых поступков и намерений относится стремление поехать в Рим, видеть римского папу, сообщить ему о том, что он, Байрон, защищал ирландских католиков против гнета официального протестантизма, и наконец сообщение о том, что он намеревается выписать своего новорожденного ребенка{12 января 1877 гада родилась его дочь Аллегра.} для того, чтобы отдать его на воспитание в католический монастырь, так как мать, Джен-Клермонт, отказывается воспитывать девочку, а других способов воспитания ребенка без матери и отца нет.

Наступил апрель 1817 года. Байрон был на короткий срок в Риме. В результате этой поездки появилась большая вещь, серьезная по значению, хотя и малая по об'ему, — «Жалоба Тассо». Это произведение касается биографии Торквато Тассо, автора «Освобожденного Иерусалима», который с 1579 до 1586 года находился в доме умалишенных. В настоящее время экспертиза писем Тассо показывает, что он был настоящим галлюцинантом, окончательно потерявшим какую бы то ни было творческую способность, но в годы, когда Байрон навещал могилу Тассо на одном из римских холмов, еще господствовала легенда о том, что причиной заключения Тассо в больницу была любовь поэта к принцессе Элеоноре Феррарской. Для Байрона Тассо, так же как и Боннивар, является жертвой монархической тирании. Политическая установка этой поэмы говорит о том, что в это время Байрон со всей резкостью определил свое отношение к давящему разгулу европейской реакции, которая душила и его самого и ставила под угрозу его жизненный путь.

Его работа над «Жалобой Тассо» была внезапно прервана. Вести из Англии подняли вновь его тревогу. Дело о разводе приобретало все более скандальный характер. Английский суд принял решение против него. Он терял не только жену, но и дочь. Известно письмо Байрона к леди Байрон от 5 марта 1817 года. В нем содержатся следующие строки:

«…Помните, что не я первый начал; но после того, как дело начато, я не сдамся первым. Теперь, наконец, я убедился в том, что чувство, которое я лелеял все время, несмотря ни на что, — надежда, хотя и далекая, на наше примирение и соединение, — оказалось напрасным; и хотя надежда эта, принимая во внимание все обстоятельства, не могла быть особенно пылкой, все же была искренняя, и я лелеял ее, как болезненное самообольщение; теперь я прощаюсь с ним, быть может, с более горьким сожалением, чем некогда прощался с вами.

…Если вы предполагаете, что я захочу вам отомстить, — вы ошибаетесь, я недостаточно убог и смиренен для того, чтобы думать о мщении. Я был раздражен, быть может, могу и теперь быть раздраженным — разве это так удивительно, но я действовал против вас под влиянием этого раздражения, за исключением какой-нибудь минутной вспышки, — с того момента, когда вы покинули меня, до того, когда мне сообщили, что наша дочь будет наследницей нашего раздора и взаимного ожесточения. Если вы думаете примириться сами с собой, осыпая меня жестокостями, вы снова никогда не будете спокойны даже в той незначительной степени, которая доступна большинству людей. Что же касается меня, я справедливее, чем вы, я верю в

судьбу, которая пронесет меня через все. Я должен был ожидать несчастий, которые меня постигли. Вас и ваших близких я вначале считал только орудием в моих последних превратностях; поэтому я не стал бы обвинять вас, если бы все поступки ваши не заставляли предполагать с вашей стороны злонамеренности, которая теперь превратилась в целую систему. Однако, время совершит то, что я не хочу делать, если б даже это было в моих силах теперь или впоследствии. Вы улыбнетесь этому предсказанию, — смейтесь, но запомните его, оно основано на всем человеческом опыте. Никто никогда не оставался без возмездия, даже если причинил другому невольное зло; я платил и плачу за содеянное мною, но и вы когда-нибудь заплатите».

Вся переписка этого времени показывает, что Байрон стоял на какой-то последней черте, и только два момента спасали его от гибели — это уход от тяжелых впечатлений в водоворот венецианских любов ных интриг и, что гораздо сильнее, уход в напряженную творческую работу.

В июне 1817 года была начата четвертая песнь «Чайльд Гарольда». Летом 1817 года Венеция и Венецианский округ страдали от недостатка хлеба. Покинув свой походный зверинец, в котором были собаки, птицы, постоянно сопровождавшие Байрона, поэт совершал прогулки верхом по берегам Бренты. Он уже давно тайком выполнял, как он говорил, «прихоть сердца», т. е. раздавал пособия нуждающимся семьям. Байрон делал это тайком и всегда под видом праздного любопытства. Перед этим в самой Венеции он кинулся в огонь, чтобы спасти семью сапожника, а потом тайком помог погорельцам восстановить их жилище. Теперь он, как мы случайно узнаем из одного письма, вместе с Гобгоузом посещал беднейшие села на берегу Бренты и стал предметом внимания случайно встреченной жены булочника Маргариты Конти. Эта женщина, прозванная «Форнариной» в честь подруги Рафаэля, быстро вытеснила всех свох соперниц и к великому скандалу английских путешественников поселилась у Байрона. С этого момента репутация Байрона считалась окончательно погибшей. Вольные я невольные друзья Байрона своей торопливостью окончательно испорти ли ему перспективу возвращения в Англию, и в середине венецианского лета Байрон приходит к убеждению о полной невозможности когда-либо вернуться на родину. Он пишет:

«Я надеюсь, никому не придет в голову бальзамировать мое тело и тащить его в Англию. Мои кости будут стонать всюду, на всех английских кладбищах, и мой прах никогда не смешается с пылью вашей страны. Мысль о том, что кто-либо из моих друзей внезапно окажется настолько диким и безобразным человеком,

чтобы перетащить даже мой труп в Великобританию, может вызвать у меня бешенство в минуту смерти. Помните, даже червей Альбиона я не согласен кормить».

Это решение было твердо, и, чтобы окончательно порвать с Альбионом, Байрон отдает распоряжение начисто развязаться с имущественными правами в Соединенном королевстве, которые давали ему право на звание лорда. Если когда-то он писал, что «только с кровью сердца можно вырвать у меня Ньюстед», то теперь без всякой крови сердца, а просто за девяносто четыре тысячи фунтов стерлингов Ньюстед был продан Уальдмену, который когда-то учился вместе с Байроном в школе Гарроу.

Из Англии приходили плохие письма Соути — придворный поэт — вел борьбу против Байрона на континенте, Маргарита Коньи старалась научиться азбуке, чтобы читать письма, получаемые Байроном. С простодушием венецианки из простонародья она советовала Байрону отравить жену и всех своих соперниц, а когда однажды рассерженный Байрон потребовал, чтобы она не мешала ему работать, она бросилась на него с ножом, а потом, в отчаянии от неудавшегося покушения, сама бросилась в лагуну, и стоило большого труда вернуть ее к жизни. Эти события остались бы неизвестными, если бы сам Байрон не сделал нее, чтобы разгласить их. Как нарочно, зная правила перлюстрации австрийской полиции, зная нескромность английской почты, Байрон до мелочей описывает все обстоятельства, порочащие его быт.

По вечерам Байрон уходил к берегу; один из его безвестных и неграмотных друзей, лодочник Тито, перевозил его на остров Сен-Лазар, на котором среди небольших групп зданий, затененных деревьями, виднеются купола и колокольни с позолоченными крестами. Это приют ученых монахов, изгнанников Армении, так называемых «мхитаристов». В отличие от обыкновенных венецианских монастырей тогдашнего времени, привлекавших великосветскую молодежь Венеции в качестве мест всевозможных запретных форм веселья, этот маленький венецианский монастырь был замаскированным штабом армянской независимости, как называл его Байрон. В годы, связанные с особенным старанием царского правительства раздуть национальную вражду на Кавказе, в годы, связанные с турецким угнетением армянского языка и армянской национальности, остров Сен-Лазар был единственным местом, где беспрепятственно звучала живая армянская речь и тщательно изучалась древняя культура Армении с ее большой летописной литературой, с ее сказаниями. Байрон часто посещает это место. Библиотекарь, отец Паскаль Авгерьян, уже давно обучает Байрона

армянскому языку, и в то время, как в Англии с осуждением перечитывают вызывающие и легкомысленные по тону описания любовных приключений Байрона, сам он пишет по-армянски предисловие к грамматике, в котором проповедует восстание угнетенных народов. И как бы в насмешку над легковерием друзей, убежденных в окончательной гибели Байрона, он вместе с английским консулом Гоппнером, с другом Стендаля Буратти, с венецианцами Альбрици и Бенциони ведет интереснейшие литературные собеседования.

Чтобы не возвращаться потом к этой теме, опишем, как распределялось время Байрона в Венеции. Он, по обыкновению, очень мало спал, очень мало ел, раннее вставание, плавание в морских просторах сменялось большой работой, которая отнимала у Байрона большую часть дня. «Однако голова моя горит, я чувствую, что Пегас уносит меня слишком далеко. Это значит, что мне необходимо охладить голову быстрой ездой верхом навстречу ветру», — так писал Байрон.

В Венеции Байрон вошел в соглашение с комендантом порта Лидо и там держал своих лошадей. Когда кончались занятия, не ограниченные никаким временем (Байрон мог работать подряд без перерыва целые сутки), Байрон менял крылатого Пегаса на одну из своих верховых лошадей и до захода солнца совершал верховые прогулки из конца в конец маленького острова до мыса Маламокко. Лидо по-итальянски значит — язычок. Этот длинный остров, похожий на жало змеи, был местом одиноких прогулок Байрона до приезда Шелли. Вот самое существенное, что касается быта Байрона в Венеции.

Количество написанных произведений, их огромная поэтическая высота является лучшим доказательством творческого напряжения Байрона в этот период. В Венеции кроме «Жалобы Тассо» были написаны следующие произведения Байрона: четвертая песнь «Чайльд Гарольда», «Мазепа», «Оды к Венеции», две песни «Дон Жуана», не считая большого количества стихотворений, и наконец начатая в октябре 1817 года легкая шуточная поэма «Беппо».

Как бы в ответ на разговоры о полном падении таланта появляется необыкновенно легкое, изысканное по стилю, гибкое и пластичное по языку комическое произведение, совершенно не похожее на все, что перед этим писал Байрон. «Беппо» является новым формальным достижением Байрона, ибо форма комического произведения, как правило, заключает в себе несравненно большие трудности, нежели возвышенно-трагические моменты, сами по себе уже воздействующие на читателя. Дать изящество в комическом гораздо труднее. На это

указывает справедливо вся критика, и враждебная Байрону и сочувствующая ему. Психологически эта поэма свидетельствует о переломе в жизни Байрона, неуклонно шедшего к трагической развязке житейского узла, и есть большая внутренняя закономерность в том, что в самый мрачный период венецианского отчаяния Байрон нашел в себе силы преодолеть самого себя и таким образом возвыситься над своим вчерашним днем.

Многие критики и историки литературы, помимо суб'ективных побуждений Байрона перейти на комический сюжет, устанавливают еще и об'ективное влияние на английского поэта тех итальянских произведений, которыми от тогда занимался в целях знакомства с языком. В течение трех лет пребывания в Венеции Байрон работал напряженно и много не только над изучением армянского языка, не только над своими большими вещами, но он ежедневно посвящал свои досуги переводу с итальянского поэмы Пульчи «Морганте Маджиоре», которую он печатал впоследствии в основанном им журнале, имевшем целью распространение карбонарских идей. Поэма Пульчи «Морганте Маджиоре» написана в 1483 году. Почти четыре столетия отделяли ее от Байрона. Если извлечь эту поэму из специфически итальянской обстановки ее времени, то она в этом изолированном и оторванном виде будет звучать простой пародией, свойственной некоторым изустным романам или народным оказаниям. Это собрание комических приключений из времен Карла Великого напоминает «Гаргантюа» Раблэ. Этого же французского автора напоминает и все сатирическое содержание поэмы, облегченное разве только чертами итальянской буффонады. Байрона привлекли именно эти легкие черты поэмы Пульчи. Начатая с евангельского текста — «Вначале было слово», поэма дает этому «слову» блестящее применение. Пользуясь высоким благочестивым слогом, обманчивым и делающим ее как бы написанной для монастырского чтения, поэма полна озорных и не всегда пристойных выходок против религии и католической церкви. Но здоровая, полнокровная, веселая шутка соответствовала тому периоду, когда кондотьерское здоровье старинных итальянских героев конкурировало с купеческой отвагой дальних мореплавателей, порождая легенды о баснословных героях старой Италии. Быть может Байрону хотелось этой поэмой воскресить в представлении новой Италии силу старинных старинных характеров, так мало напоминавших слабовольное, изнеженное аристократическое население новой Венеции.

Сюжет поэмы «Беппо» очень прост. Герой ее типичный

венецианец Джузеппе, или просто Беппо, в силу своей профессии купца-морехода отлучается из дома Надолго и гораздо чаще, чем это совпадает с потребностями его супруги. Лаура, красивая женщина, заводит себе заместителя супруга «главным образом для защиты». Лаура и молодой вертопрах, путешествующий граф, живут очень счастливо много лет, вполне довольные друг другом. Но однажды на карнавале они встречают турка, который на самом деле оказывается не турком, а вернувшимся из путешествия мужем Лауры. Комическое разрешение встречи, забавный разговор за кофе, беззаботная концовка, возвращающая Бегаю в лоно семьи.

В поэме девяносто строф. В мировой литературе только, пожалуй, пушкинский «Домик в Коломне» может равняться по качеству с байроновским «Беппо».

Мы остановились на этом произведении, как на водоразделе, определяющем переход Байрона к другой полосе его жизни и творчества. И если вышедшее 28 апреля 1818 года окончание «Чайльд Гарольда» позволило Байрону решительно расстаться с той гранью, которая отделяет автора от героев, то это одновременно свидетельствует и о том, что Байрон окончательно отошел от того суб'ективизма, который раскрывал его самого в первый период его творчества, закрывая героя и события. Теперь мы видим героя, мы видим расстановку явлений, мы дышим ритмическим напряжением прекрасного байроновского стиха, но автор остается в тени. Он наблюдает, описывает, оценивает тонко и иронически, но не смешивается со своими героями. Из автора фантастических поэм он становится трезвым и насмешливым реалистом. «Беппо»— это поворотный пункт в творчестве Байрона. Прежде чем Байрон успел удивиться невероятному успеху своей поэмы, она уже выдержала семь изданий. Но путь, на который вступил поэт, влек его дальше.

Вот письмо, которое говорит о непосредственной связи между «Беппо» и величайшим произведением Байрона «Дон Жуаном»:

«…Я закончил первую (довольно длинную, около 180 октав) песню поэмы в стиле и манере „Беппо“, окрыленный успехом последнего. Она называется „Дон Жуан“ и в ней обо всех предметах будет говориться спокойно-шутливым тоном. Но я боюсь, что бы она не была слишком вольной, по крайней мере в наши скромные дни. Во всяком случае я сделаю эксперимент анонимно; если это не пройдет, его можно будет прекратить. Поэма посвящается Соути: в хороших, простых и диких стихах говорится о политических убеждениях лауреата и о том, как он до них дошел»…

Венецианской зимою, дождливой и туманной, Байрон перебрался на Большой Канал и занял пустовавший дом, принадлежавший венецианским богачам Мочениго. Мрачный дом оживился и наполнился совершенно необычным населением. В нижнем этаже гондольер Тито созывал своих товарищей. К нему собирались его друзья и родные. Профессиональные певцы и уличные музыканты заходили запросто в этот недавно еще недоступный дворец. Пестрая толпа совсем незнатных, неизвестных и незнакомых мужчин и женщин встретила Шелли, когда он приехал в этот «вертеп Мочениго» в августе 1818 года.

И как бы следуя скептическому настроению, сменившему романтическое вдохновение его ранних фантазий, Байрон становится все больше и больше реалистическим сатириком в поэме, которую он предполагал сделать своим основным эпическим произведением. Угрожая друзьям и врагам быстрым ростом «Дон Жуана», поэт обещал довести поэму до пятидесяти песен.

На жалобы Шелли по поводу избытка «дурного общества», окружающего Байрона, поэт ответил эпиграфом к «Дон Жуану»: «Неужели ты думаешь, что оттого, что ты добродетелен, в мире не-должны существовать пироги и пиво». Этим эпиграфом из «Двенадцатой ночи» Шекспира начинается «Дон Жуан». Байрон провозгласил законность всех сторон жизни в качестве об'екта для писателя.

Можно долго рассказывать о том, как вслед за Марианой Сегати появилась Маргарита Коньи, вслед за Маргаритой появилась Анджиолина и целый ряд других женщин или сомнительной нравственности, или несомненной порочности, сделавшихся завсегдатаями дворца Мочениго. Роль биографа сводится к тому, чтобы связать творческие истоки поэта Байрона с его собственной жизнью и с жизнью эпохи. Перечень произведений венецианского периода указывает на то, что первенствующее значение в жизни Байрона играли не эти легкомысленные связи, а те живые соприкосновения со всеми слоями итальянского обществам на которых выросли самые блестящие произведения английского гения, и не только произведения, но и горячее участие Байрона в итальянском освободительном движении. Добросовестность биографа требует, чтобы эти стороны были отмечены не в порядке оправдания, ибо Байрон в нем не нуждается, а в порядке об'яснения той исторической ситуации, которая позволила гениальному бунтарю-одиночке выйти за пределы своего класса, несмотря на все угрозы, какие должны были явиться результатом неестественной замены положения лорда поло жением

поднадзорного поэта-свободолюбца.

Мы берем живого Байрона со всеми его человеческими свойствами, с его печалью и смехом и с его «мировой скорбью», которая имела вполне естественные, исторически обусловленные причины, но не растворяем Байрона в потоке социальных сил, а показываем в нем живое и критическое отношение к действительности, несомненно осложненное в какой-то степени теми элементами сословных предрассудков, к которым Байрон бессознательно прибегал в период самозащиты. При всей противоречивости творческого образа Байрона нельзя забывать главного свойства его натуры, которое служило основой всех его творческих устремлений, а именно: полное и яркое ощущение всех революционных замыслов эпохи, твердое и ясное представление о социальной справедливости, вытекавшее из его отношения к человеку, независимо от его сословного происхождения, и наконец горячая защита этой справедливости всеми доступными ему средствами.

Попытки развенчать Байрона начались, как мы уже знаем, с первого момента его литературной славы, но теперь, в годы пребывания Байрона в Венеции, они приняли поистине чудовищные размеры. Поэт-лауреат Соути к этому времени дошел уже до того, что начал обличать Байрона как человека, «наложившего клеймо позора на литературу великой Англии, ибо он совершает тягчайшие преступления против общества, выпуская творения, в которых яд насмешек замешан на огне ужасов, грязь разврата сочетается с безбожием и крайняя степень нравственного падения с вольнодумством мятежника».

В сентябре 1819 года Байрон пишет своему издателю Меррею: «Не говорите мне об Англии. Я не хочу о ней слышать. Там были моя семья, ребенок, дом, земля, имя. Все изменилось и исчезло. Из десяти последних и лучших лет моей жизни шесть прошли за пределами этой страны. Я не чувствую любви к своей стране. Но, собственно говоря, вражда с обеих сторон должна бы иметь знак равенства, иначе у меня ничего не выйдет. Однако революция не делается на розовой водице. Боюсь, что мой вкус к революции не притупится моими другими страстями». Итак, наступал период решительного перелома в жизни Байрона.

2 января 1818 года Байрон подписывает посвящение Гобгоузу в четвертой песне «Чайльд Гарольда». Это предисловие так же интересно, как сама поэма. «Обращаясь к вам, я от вымысла иду к истине, посвящая вам завершенное или во всяком случае оконченное поэтическое произведение, самое длинное и самое продуманное, и самое понятное из всего, что я писал, я хочу оказать честь себе, вспоминая о вашей дружбе.» И далее: «…даже

число, помеченное на этом письме, — годовщина самого несчастного дня в моем прошлом» (2 января 1815 года — день бракосочетания лорда Байрона и мисс Изабеллы Мильбенк).

Говоря о содержании последней песни, Байрон сообщает: «Я устал проводить границу между героем и автором, ее все равно никто не признает». Далее Байрон говорит о характере итальянской национальности, стремясь об'яснить свое пристрастие к новой родине. Он произносит ряд имен, которые кажутся ему великими только потому, что они связаны с национально-освободительным движением Италии. Вот почему среди этого перечня мы встречаем Уго Фосколо. А дальше Байрон уже приводит имена безвестных римских рабочих, которые поют песню о своем родном городе, и делает вывод об удивительной даровитости римского простонародия, о его восприимчивости, о кипучести его гения и о той единственной жажде, которая достойна одаренного человека всех сословий, которая называется «жаждой бессмертия» — бессмертия независимости.

Приводя в предисловии первую строчку из песни римских рабочих, Байрон говорит: «Как не противопоставить эту песнь разнузданному реву торжествующих трактирных гимнов Лондона по поводу кровопролитий под Ватерлоо или предательства Италии, Франции, Генуи, напоминая таким образом позорное поведение представителя Англии Кестльри, который был инициатором английского предложения об уступке австрийскому императору Ломбардии и Венецианской области, в силу парижского трактата». Байрон заканчивает: «Не буду говорить о том, что выиграла Италия недавним перемещением национальных влияний. Бесполезно говорить об этом, пока не подтвердится молва, будто Англия что-то выиграла введением постоянного войска и отменой неприкосновенности личности. Лучше бы Англия следила за тем, что происходит у нее дома». С момента основания «священного союза» Байрон рассматривает об'единение европейских правительств только как грабительский комплот, угрожающий молодому по запасу сил и талантливому, но разобщенному насильственными границами итальянскому народу.

1818 год закончился для Байрона изданием четвертой песни «Гарольда», «Оды к Венеции» и «Мазепы». Последние две вещи вышли вместе в виде небольшой брошюры. Содержание «Мазепы» заимствовало из вольтеровской «Истории Карла XII», и есть основание полагать, что чтение этой поэмы навело Пушкина На мысль написать «Полтаву» в противовес байроновскому толкованию «Мазепы». Байрон берет только ранний эпизод из жизни украинского гетмана, тот момент, когда паж польского

короля Яна Казимира превращается в преступника, покусившегося на благосклонность польской королевы. Мазепа, привязанный к бешеному украинскому коню, который мчит его по степи, проходит через вереницу ужасов. Преследуемый волками и мучимый голодом, вынесенный из волн разбушевавшейся воды, Мазепа сохраняет неукротимый дух, и он один только помогает ему перенести вое несчастия и страдания. Как человек силой обстоятельств может быть связан с разнузданной, озверевшей стихией человеческой ненависти, так и Мазепа связан с лошадью, мчащей его день и ночь. И здесь, как призыв к защите себя и своей стальной индивидуальности, Байрон описывает торжество непокоренной личности. Очень характерной особенностью этой поэмы является подчеркивание тех свойств полноценной личности, которые только и могут обеспечить человеку спасение и от стихии природы, и от произвола деспотической власти.

В Венецию внезапно приехала в сопровождении няни-швейцарки маленькая девочка Аллегра Байрон, которая, несмотря на малый возраст, изгнала большой беспорядок из дворца Мочениго. Выписанная с большим трудом письмами отца, эта девочка сделалась спутницей Байрона в его итальянские годы, так же, как Шелли, а затем наступило другое влияние, которое, как и появление дочери, также было вызвано внутренними поисками самого поэта.

Почти все русские биографы Байрона повторяют одну и ту же нелепую версию о том, что встреча с некоей графиней обусловила либерализм Байрона и вхождение его в карбонарскую конспирацию. П. Морозов прямо пишет: «В апреле 1819 года на вечере у графини Бенцони поэт был представлен юной графине Терезе Гвиччиоли, урожденной графине Гамба, которая только что вышла замуж за богатейшего землевладельца Романьи, шестидесятилетнего, старика, уже похоронившего двух жен»{*Байрон*, т. II, изд. Брокгауза.}. Отсюда, как полагают наши исследователи, возникло стремление Байрона написать историю Мазепы, этого красивого пажа, который влюбляется в супругу престарелого короля. Чтобы не возвращаться к этой нелепости, отметим, что «Мазепа» был закончен за год до встречи с Терезой Гвиччиоли и что эта девятнадцатилетняя итальянка ни по имени, ни в лицо не была известна Байрону в период написания «Мазепы».

Другие факты еще более подтверждают наши предположения о том, что соприкосновение с Италией, от римских рабочих до крестьян на берегах Бренты, от заговорщика Уго Фосколо до члена миланского магистрата Федериго Компололньери, подготовило в Байроне решительно все для вхождения его в

самую активную связь с карбонарскими организациями. Чем больше он сталкивался с живой итальянской действительностью, тем легче он отрывался от «обломков домашних пенатов Англии», и нужен был только повод для того, чтобы этот вольнодумный английский отщепенец по-настоящему почувствовал себя сыном Италии, готовым отдать за нее свое состояние, счастье и самую жизнь. Совершенно естественным и логическим концом этих поисков было то, что неожиданное знакомство с семьей, целиком посвященной в конспирацию североитальянских карбонариев, сыграло роль завершения многолетнего пути, а если это, соприкосновение с семьей Гамба совпало с тем, что девятнадцатилетняя Тереза Гамба-Гвиччиоли сделалась на остаток лет подлинной подругой жизни Байрона, так это только подчеркивает правильность нашего утверждения. Старый Гамба — отец Терезы, ее брат Пьетро Гамба были людьми именно того закала, который больше всего располагал к себе английского поэта.

Байрон-драматург

Для Байрона началась полоса огромного напряжения творческих сил и та редкая наполненность жизни, которая стала ему «дороже счастья». Самые тяготы жизни, испытанные Байроном, стали теперь лишь ступенями, возвышавшими этого человека над самим собой. Казалось, все литературные жанры сделались ему доступны как никогда. С легкостью преодолевает Байрон трудности формы. Он ломает установившиеся литературные традиции, но делает это бессознательно, идя на зов внутреннего творческого порыва и никогда не довольствуясь внешними побуждениями. Будучи несомненным романтиком, он ищет выход в реализм миросозерцательный, но при этом заботливо охраняет чисто классические традиции формального порядка.

Все споры, которые с необычной горячностью и парадоксальностью поддерживал в эту пору Байрон, вращались вокруг одной оси, именно вокруг вопроса об английской драме, для которой Байрон стремился дать новые образцы. Именно к этому периоду 1819–1822 годов относятся его драматургические опыты, так как написанного в Швейцарии «Манфреда» нельзя считать драматическим произведением, в собственном смысле этого слова.

Вопрос о драмах Байрона до сих пор является вопросом спорным. Маколей открыл первую стадию спора, и с него началось утверждение что Байрон, как писатель чисто лирического дарования, не мог создать ничего оригинального в области драмы. Маколей исходил из байроновского парадоксального утверждения об «отсутствии английской драмы» и противопоставил Байрону Шекспира, как действительного основоположника английской драмы. Последующая критика в суждениях о Байроне-драматурге исходит все-таки главным образом из желания возражать Маколею, а не раскрыть смысл байроновского драматического творчества. Никто, например, не делал сопоставления отзывов Байрона о Шекспире со столь же парадоксальными высказываниями Льва Толстого о Шекспире и его драме. А между тем и у Байрона и у Толстого Шекспир отрицается не только как мировой гений, но и как драматург; только в одном случае Толстой отрицает его значение во имя реалистического упрощенчества и настаивает на вредности Шекспира в области идейной, исходя из философских основ своего учения; Байрон же нападает на Шекспира во имя сложных формальных требований классической драмы.

Байрон не раз подчеркивал свое восхищение всем творчеством Александра Попа (1689–1744), литературные каноны Которого повторяли старинные драматургические правила Аристотеля, требовавшие, чтобы действие трагедии кончалось на том месте, на каком оно началось. Завязка и развязка должны соблюдать единство времени. Должно быть соблюдено также и единство характеров. Эти каноны, обусловленные особенностями культуры античного общества и вполне, соответствовавшие уровню его требований, давно отжили свой век, и возобновление их в применении к французской трагедии XVII и XVIII веков создало литературное течение, которое называется ложноклассикой. Ложноклассическая французская драма построена была по тому же формальному принципу. Она прибавила к этому еще резкое разграничение характеров положительных и отрицательных, в силу чего люди, двигавшиеся на сцене, символически изображали собою законченные и изолированные пороки или добродетели. Остался принцип единства времени и действия, а прежний античный хор превратился или в совет старейшин, или в специальных истолкователей, которые дополняли для зрителя отсутствующие штрихи событий или недостававшие звенья сюжета. Эта система лежит и в основе драматургического искусства Александра Попа.

Считая Шекспира «худшим из всех возможных образцов драматической формы», Байрон тем не менее тонко его знает и в моменты наибольшей напряженности «Дон Жуана» чередует свои стихи с десятками шекспировских цитат. В области построения драм Байрон считает необходимым следовать отнюдь не по пути Шекспира, но только по пути старинного канона. Однако в своей писательской практике Байрон не пошел ни за Шекспиром, ни за Попом. Создавая свои драматические произведения: «Марино Фольеро», «Двое Фоскари», «Каин», «Небо и земля», «Вернер», «Преображенный урод», он наполнил их новым, чисто романтическим содержанием. Обрисовка человеческих характеров у Байрона выходит далеко за пределы классической условности, а «местный колорит», т. е. точнейшее изучение индивидуальных и неповторимых особенностей эпохи, быта, образа мыслей, свойственного тому времени, когда живут герои, является романтической новизной, совсем не похожей на обезличенность героев трагедий Расина, в которых мы все-таки узнаем переодетых придворных Людовика XIV.

Вот, что писал Байрон в предисловии к «Сарданапалу»: «Всякое произведение, в котором отсутствуют три единства, может быть названо поэмой, но не будет драмой. Автору известно, до какой степени не популярна эта система трех

единств в современной английской литературе. Но так как эта система не изобретена автором, а есть не что иное, как теория, еще недавно господствовавшая как закон в литературах всего мира, то он удерживает ее в том виде, в каком она воцарилась у наиболее культурных народов. „Mais nous avons changé tout cela“{„Но мы изменили все это“.} и пожинаем плоды этого изменения. Автор предпочел правильную драматическую конструкцию, хотя и, более слабую, вместо того, чтобы отступить от всяких правил драматического творчества. Если он потерпел неудачу, то вина автора должна быть отнесена на счет архитекторов, а не на счет самого искусства».

Байрону приписывают еще одну фразу: «Французы с полным правом смеются над тем, что в пьесах Шекспира в первом акте героями являются дети, а в последнем акте старики». Неизвестно, говорил ли Байрон эту фразу; она приводится Медвином — источник мало достоверный. Одним словом, Байрон стремится достичь того единства места и времени, при котором трагическая завязка должна «развязываться», т. е. закончиться в двадцать четыре часа. Раскрепощенная драма получила право гражданства только после смерти Байрона. И лишь за год до смерти Байрона появился так называемый «романтический манифест» — трактат Стендаля-Бейля, названный им нейтральным заголовком «Расин и Шекспир — этюды о романтизме». Стендаль выступил на защиту романтики и оказался опытным стратегом, разрушив крепость трех единств.

Из драм Байрона необходимо особо выделить трагедию, или мистерию, «Каин», которая является как бы вершиной его романтического творчества. Прекрасный анализ этой трагедии дает Георг Брандес. Он пишет: «Адам обуздан, Ева подавлена, Авель кроткий и покорный юноша, а Каин — это *молодое человечество*, которое размышляет, спрашивает, стремится и требует. Все противоречия религии и здравого разума, страдания и представления о всеблагом божестве, одним словом», вся религия как система миросозерцания, мироощущения предшествовавших Байрону поколений изображена в трагедии «Каин».

Но надо иметь в виду, что библейский сюжет разработан совершенно заново. Известны те страницы библии, в которых описывается традиционный прародительский рай и грехопадение, т. е. та основа типичного английского благочестия, к которому так охотно возвращались в английских семьях в субботние вечера и по воскресеньям и к которому искусственно была прикована не только школа, но и вся реакционная политика тогдашнего времени. Надо иметь в виду взрыв страшного мракобесия в

тогдашней Европе, чтобы понять, какой неслыханной, чисто революционной дерзостью явилось байроновское *оправдание Каина*. Слово, бывшее бранной кличкой, соединявшееся обычно в устах обывателей с представлением о бессмысленном братоубийце, это слово, это понятие английский поэт вдруг перед лицом всего европейского человечества и родной Англии сделал лозунгом борьбы за будущее раскрепощенного человека.

Каин, оправданный без парадоксов, Каин, говорящий простым языком здравого человеческого смысла, внезапно сделался символом всего протестующего, всего борющегося за свободу, разумность, подлинную сердечность и справедливость. В связи с этой перестановкой понятий новое значение приобретает фигура, враждебная всякому божеству, фигура Люцифера. По прямому смыслу латинского термина Люцифер — значит носитель света. В трактовке Байрона Люцифер — это новый Прометей, выхватывающий у слепых и темных стихий живительный огонь, согревающий людей на мерзнущей планете, это свет, разгоняющий мрак, невежество, суеверие религиозного обскурантизма, заново обступившего европейское человечество после под'ема революционной волны. Дух светоносца, критический разум освещает перед ослепшими людьми картину *преступления бога* и — этим самым показывает человеку лживость какой бы то ни было религии вообще.

Авель приносит жертву. Самая идея жертвы рассматривается Байроном как бессмысленная и нелепая растрата сил и человеческого счастия. Бог, воплощающий в себе всю многовековую систему предрассудков человеческой истории, должен обладать, по Байрону, способностью всезнания. Как всеведущий, он знает, какие мятежные мысли бродят в голове его собственного творения, именуемого Каином, и допускает свершиться убийству, ибо преступление и зло необходимы для равновесия божеского начала. Каин совершает убийство, восставая против созданного божеством миропорядка, который в его глазах остается жестоким царством труда, разрушения и смерти.

Кто же такой байроновский Каин? Это мыслящий человек XIX столетия, это французский плебей, штурмующий Бастилию, это химик Лавуазье, врывающийся в тайны природы, это Монгольфьер, штурмующий небеса аэростатом, это линза телескопа, срывающая завесу небесных тайн и нигде не находящая места для золотого престола всевышнего. Каин — это разрушитель старых миров, это созидатель новой человеческой культуры воцаряющейся буржуазии. Немудрено, — что на того человека ополчилась вся система религиозных предрассудков

мира.

Выход в свет драматического томика Байрона вызвал такой же ураган преследований, такую же бурю газетных негодований, как национальные бедствия, наводнения или пожары, уничтожающие города. Издатель спешно просил автора смягчить некоторые речи Люцифера. Байрон ответил простым и очень деловитым языком, что предлагаемая новая редакция слов Люцифера, к сожалению, очень похожа на последнюю проповедь архиепископа англиканской церкви Линкольна и что если эту покорную и красивую речь вложить в уста вечного врага божия, то это не будет соответствовать ни желанию Люцифера, ни желанию архиепископа. Тогда лорд Эльдон, тот самый, которому были посвящены стихи о ткачах 1811 года, предшествовавшие выступлению Байрона в палате, от имени английского правительства «лишил Байрона авторских прав», т. е. фактически он привел к тому, что издатель байроновских драм и всех последующих его произведений потерпел убытки. С формальной точки зрения правительственное распоряжение было нарушением закона, и поэтому издатель обратился в суд. Точный текст приговора гласит следующее: «Протестантская религия есть основа всех законов Соединенного королевства, и следственно, и законов об охране книжной торговли. Книга, пред'явленная судьям, имеет целью ниспровержение священного писания, а посему ни автор, ни права издавшего не подпадают под защиту законов Соединенного королевства». Многие критики рассматривают следующее драматическое произведение Байрона, «Небо и земля», как развитие идей, овладевших Байроном в период написания «Манфреда». К этому есть основания, равно как есть основания об'единять умозрительный и философический материал «Манфреда», «Неба и земли» и «Каина» в целостную философскую трилогию, которая, даже с точки зрения самого Байрона, является скорее циклом драматических поэм, а не театральных драм, так как Байрон не выдержал конструктивной схемы классических канонов. Во всяком случае «Небо и земля» находится в прямой связи с «Каином», а главные действующие лица, Ана и Аголибама, являются дочерьми «Каина» и продолжательницами его революционного протеста. Проблема отношений между полами, проблема детской обреченности на страдание, проблема материнства, братской и супружеской любви, проблема размножения страдающего человечества и надвигающийся ужас потопа, как общий для всех людей момент, об'единяющий их в гибели, — вот фон и материал, на котором построена эта мистерия. И, как следовало ожидать от писателя, до конца ведущего логическое построение одиночного бунта,

вывод трагедии говорит «О силе гнетущей и покоряющей».

Отдельно стоят два последних произведения драматического творчества Байрона — «Вернер» и «Преображенный урод» — драмы, выводящие нас из венецианского периода творчества Байрона.

Драма «Вернер» по сюжету заимствована у писательницы Гарриет Ли. Вместе с Вальтер Скоттом Байрон отдал дань романтического увлечения поэзией тайн и ужасов. Байрон сумел в собственной трактовке использовать тематику фантастического, ужасного и мрачного. Место действия «Вернера» — Германия, истощенная тридцатилетней войной (1618–1648), когда страна утратила почти две трети своего населения и превратилась в пустыню с городами, наполненными волчьим воем, с деревнями, опустошенными голодом и эпидемиями, с людьми, охваченными ожиданием антихриста. Однако реальная Германия почти не отразилась в трагедии Байрона. В основе сюжета трагедии лежит кровавая семейная хроника некоего графа Энгендорфа, возникшая на почве борьбы за наследство.

«Преображенный урод» — единственная драма Байрона, которая носит легкую печать автобиографизма (повидимому Байрон никогда не забывал о своем телесном недостатке — хромоте). Основным зерном трагедии служит эпизод из времени похода Коннетабля Бурбонского на Рим в 1527 году. Фантастическая фигура демона тесно связана с Мефистофелем Гете. Горбун Арнольд усилиями этого дьявола превращается в красивого человека, демон вселяется в прежнее тело Арнольда. Завязка трагедии состоит в том, что Арнольд — реальный, превращенный в красавца, оказывается не в состоянии завоевать сердце римлянки Олимпии Колонна, в то время как дьявол, воплотившийся в тело уродливого Арнольда, добивается этого без особых усилии. Реальный Арнольд и дьявол, воплощенный в его уродливом теле, становятся врагами. И человек с напрасной красотою, испепеленный бессилием страсти, становится достоянием уничтожающей демонической силы.

Особняком стоит трагедия Байрона «Сарданапал». Сюжет пьесы заимствован из повествования Диодора Сицилийского о гибели ассирийского царя Сарда-напала, изнеженного и размягченного наслаждениями властителя, погибшего во время восстания индийского военачальника Арбака, убедившегося в том, что реальный властитель Ассирии не в состоянии оказать нужного сопротивления врагу. Гибель Сарданапала у Байрона изображается не в полном соответствии с историческими сказаниями Диодора. Сарданапал, по Байрону, это не только сластолюбец, а человек мягкий и скептически настроенный к

своей власти. Целый ряд критиков и биографов Байрона усматривали в, этом герое самого Байрона. Некоторые из них стремились истолковать эту трагедию как отказ Байрона от какой бы то ни было политической борьбы, как провозглашение ненужности революции и кровавых переворотов, но эта трактовка является столь же тенденциозной, сколь и мало обоснованной. Уж если можно говорить о каком-нибудь скрытом смысле этой поэмы, то он заключается разве лишь в том утверждении, что крепкая и сильная рука вооруженного полководца может сделать больше для организации власти, чем наследственный повелитель, правящий по инерции.

«Сарданапал» написан со строжайшим соблюдением всех правил ложноклассической трагедии, с пунктуальным сохранением закона трех единств. По этому поводу Гете заметил, что человек, никогда ничего не боявшийся и не считавшийся ни с какими законами, вдруг подчинился самому нелепому из всех законов — закону трагических трех единств. Гете, как драгоценность, показывал посвященную ему рукопись «Сарданапала» и впоследствии дал очень интересную характеристику самого Байрона как величайшего таланта XIX века: «Байрон не классик и не романтик — он само наше время».

В коротком предисловии к «Сарданапалу» Байрон указывает на то, что он не претендует на сценичность этой трагедии. И действительно, несмотря на соблюдение сценических условий, это произведение Байрона не может быть поставлено, на сцене. Но «Вернер», в котором Байрон позволил себе те самые отклонения от драматургического канона, которые, по его словам, «драму превращают в поэму», вопреки его ожиданиям, оказался самой сценичной изо всех его драм. Он шел в Англии с неожиданным успехом, и талантливый артист Макреди считал Вернера своей лучшей ролью.

Большая любовь. Байрон-карбонарий

Никогда разнообразие байроновского творчества не достигало таких размеров, как в период созревания его органической связи с итальянским освободительным движением. То, что Стендаль называл кристаллизацией творчества, завершилось в тот момент, когда вполне определилось поведение Байрона по отношению к Италии. Мы склонны думать, что эта полнота и определенность жизненного пути, выбранного Байроном, вывела его также из дебрей творческих исканий, и творчество его засверкало всеми цветами радуги. Шелли не без удивления заметил огромную перемену в своем друге. Вместо беспомощно мятущегося человека, подавленного суб'ективной раздвоенностью внежизненных исканий, он увидел перед собой чрезвычайно доброго, закаленного в работе, почти веселого человека с тем чувством затаенного счастья, которое свойственно удачливым изобретателям или мореплавателям, достигшим своей цели. Житейские затруднения росли неимоверно. Жизнь английского изгнанника, протекавшая под удручающими впечатлениями постоянной травли, теперь превратилась в напряженную, бурную и целеустремленную жизнь человека, которому угрожает не только травля, а ежеминутная смерть от яда, от ножа наемного убийцы.

В Венеции, у графини Бенцони, произошла случайная встреча с Терезой Гвиччиоли. Девятнадцатилетняя Тереза Гамба, выданная за богатого романьольского старика, шестидесятилетнего графа Гвиччиоли, в силу принудительных соображений двух взаимно обязанных семейств, впервые встретила человека, которого полюбила. Впоследствии Тереза Гвиччиоли писала, что она внезапно увидела перед собой явление, ставшее выше всего, что до сих пор случалось ей видеть.

Талантливый итальянский романист Гвераци{Автор «Осады Флоренции», вышедшей в издательстве «Академия».} с обычной для него цветистостью рассказывает о том впечатлений, какое производил Байрон в эти годы: «В ту пору разнеслась молва, что к нам в город прибыл человек необычайный, о котором молва шумела на тысячу ладов, сообщая сведения, исключавшие друг друга. Говорили, что он королевского рода и необузданного нрава, говорили, что он из племени гигантов-богатырей, закаленный боец и силач, говорили, что он демон зла, превосходящий умом смертных людей, а были и такие, кто

говорил, что это библейский сатана, блуждающий по земле, ища себе окружения из богохульных святотатцев. Так говорили об этом Джордже Байроне. Я искал встречи с ним, и когда в дверях показалось это прекрасное лицо, мне почудилось, что сошел с пьедестала Аполлон ватиканского бельведера».

Другие свидетели, как Амброзоли, подтверждают это впечатление спокойного обаяния Байрона, а лучшим доказательством того, что Байрон действительно нашел самого себя на этой широкой и благородной революционной дороге, является то, что крупнейший конспиратор тогдашней Италии, молодой Мадзини, никогда не расставался с портретом «английского карбонария Байрона». Им он украшал и комнату свою в Лугано и стены многочисленных тюрем, в которых провел столько лет своей жизни.

Внешняя занятость и внутренняя погруженность в детали работы, на которую бесповоротно обрек себя Байрон, не позволили ему понять собственное чувство, возникшее в тот вечер, когда он встретил Терезу Гвиччиоли. Вряд ли она поняла вначале всю силу этого впечатления. И только в мае месяце, когда Гвиччиоли выехали из Венеции в Равенну, эта разлука дала обоим почувствовать всю неожиданность и глубину происшедшего. Байрон получил от старика Гвиччиоли приглашение приехать в Равенну, но не принял его, и только сведения о внезапном тяжелом заболевании Терезы заставили его решиться на выезд из Венеции. Перед этим он писал: «Меня мучит ужасный страх, что она больна чахоткой. Если с ней случится несчастье, то прощай мое сердце. Это моя последняя любовь». По существу это была первая настоящая и большая любовь человека, который в этом чувстве нашел решительно все, что связывается с этим словом. Надо прочесть «Стансы на реке По», чтобы понять, как горячо и преданно билось сердце Байрона. Все указывало на итоговую черту большого пройденного пути, все говорило о том, что *начинается новая жизнь*. Это было стихийное повторение дантовского чувства, которое старинный поэт Италии выразил в словах: «incepit Vita Nova»{«Начинается новая жизнь».}. И как там, за много веков, новая жизнь сочеталась с творческим созданием гигантской поэмы и со встречей женщины, осветившей эту новую жизнь, так и здесь совершенно стихийно в творчестве Байрона и в его жизни сочетались и встреча с Терезой Гвиччиоли, и огромное творческое напряжение, и ощущение новой, молодой, забившей ключом политической жизни Италии.

Как бы расставаясь с прошлым, Байрон перебирал в памяти все впечатления детских дней, и ссоры с матерью, и сожаление об ее ранней смерти. Он был в том состоянии беспощадного

отношения к себе, которое овладевает человеком, вступившим на новый путь и стремящимся к установлению ясной истины о самом себе. Так возникли мемуары Байрона до 1816 года. Мы можем представить себе те вечера, когда в промежутках между выстрелами в белых голубей, пролетающих над высокими деревьями вечереющего равеннского сада, где Байрон обучал искусству стрельбы молодого Пьетро Гамба, возникали ответы на вопросы Терезы Гвиччиоли о ранних годах и о поворотах жизненной реки, течение которой принесло Байрона *в* этот тихий, полумертвый город византийских базилик и прекрасных пиний, растущих на песчаных дюнах, там, где когда-то был морской берег, богатая гавань и где уже много веков на месте ушедшего моря лежат пески, поросшие южными соснами.

29 октября 1819 года Байрон писал Джону Меррею: «…Я передал Муру, который отправляется в Рим, мое жизнеописание до 1816 года (78 больших листов). Я дал ему это на сохранение, так как у него имеются и другие мои бумаги: дневник, который я вел в 1814 году и т. п. Ни то, ни другое не должно быть опубликовано при моей жизни, но лишь тогда, когда я умру. Вы можете с ними делать что угодно. Пока я разрешаю вам прочесть их, если хотите, и показывать кому угодно — мне все равно.

„Жизнеописание“ заключает в себе заметки о *событиях*, а не исповедь. Я выпустил все мои *любви* (за исключением самых общих упоминаний) и многие другие очень важные вещи, потому что я не хочу никого компрометировать. Это похоже на представление Гамлета, в котором роль Гамлета выпущена „по специальной просьбе“. Но вы в нем найдете много моих мнений, немного юмора и детальное описание моей свадьбы и ее последствий; последнее настолько правдиво, насколько возможно для заинтересованной стороны: мы ведь все имеем предубеждения».

Мы знаем, что самым ярким моментом писания, мемуаров были дни в Равенне. Если в первую неделю были написаны семь больших листов, то к 26 августа они занимали уже сорок четыре листа большого формата. «Я выпустил все мои *любви*», — очевидно, не о любовных похождениях шел разговор Байрона с самим собою. Не исключающие друг друга мнения, которые высказывают лица, читавшие дневник, показывают, что неожиданная и странная судьба мемуаров Байрона является следствием такого же *преступления*, какое имело место и в отношении к личной судьбе поэта. Джон Россель прямо упрекал виновников гибели мемуаров в вандализме. Роджерс протестовал против мероприятий, осуществленных в отношении байроновских мемуаров, и доказывал необходимость их напечатания, но леди

Байрон настолько решительно восстала против печатания этих политических и семейных документов, так боялась, что политические признания Байрона могут отразиться на благосостоянии семьи, что прямо написала Томасу Муру письмо с угрозами такого характера, что Мур просил Байрона истолковать ему смысл таких угроз) как «некоторые последствия для издателей мемуаров». Байрон был поражен сообщением Мура. В своем ответе он ограничился цитатой из дантовского «Ада» о жене, наносящей вред мужу больше, чем самый страшный враг, и не настаивал на печатании.

Нам известно, что после смерти Байрона, под влиянием резкого поворота английской политики, Томас Мур, словно в состоянии безумной паники, созвал пугливых друзей Байрона и в их присутствии, с их согласия порвал в клочья мемуары Байрона и две копии с них. Потом, облегченно вздыхая, шестеро судей этого странного инквизиционного трибунала бросали в камин вороха снегоподобной бумажной массы.

Закончив мемуары и отослав их в Англию, Байрон деятельно продолжал писать свои драмы и одновременно занимался многими вещами, ни на день не прекращая ни карбонарской работы, ни работы над своей главной вещью, которая отняла у него так же много времени, как и «Чайльд Гарольд». Начав в 1818 году «Дон Жуана», Байрон 15 июля 1819 года издал первую и вторую песни этой поэмы, а в ноябре 1819 года окончил третью и начал четвертую песнь «Дон Жуана». Это произведение так и осталось не оконченным. Весной 1824 года была доведена до конца шестнадцатая песнь, семнадцатая песнь была прервана смертью поэта на четырнадцатой октаве.

Если целый ряд произведений Байрона встретил такой же живой отклик в душе его подруги Терезы Гриччиоли, как и собственная живая личность Байрона, то «Дон Жуан» был чрезвычайно тяжело воспринят женщиной, которая до семнадцатилетнего возраста была невольной обитательницей католического монастыря. Огромное большинство карбонариев не порывало с религией и низовым католичеством. Байроновское свободомыслие поэтому тяжело переживалось его подругой, которая при всем своем обаянии не обладала ни широтой ума Байрона, ни безграничностью его воли. Однако новое и большое чувство Байрона, перед которым семья Гамба стояла как живой пример подлинных итальянских стремлений, продолжало развиваться. Вот почему на первом этапе новой жизни Байрона мы видим произведения, закрепившие его итальянские связи.

Сближение Байрона с семьей Гамба если не сразу вызвало реакцию старого Гвиччиоли, то во всяком случае тотчас же

обратило на себя внимание австрийской полиции, которая в каждом новом сочетании житейских связей видела возникающую карбонарскую хату (baracca), а в каждом приглашении на игру в кости или на маскарад видела собрание революционной венты (vendita). Вхождение Байрона в общение с семьей Гамба, до которой не доставали руки обыкновенной городской полиции, чрезвычайно упрочило положение Байрона в Италии, а принадлежность семьи Гамба к богатому итальянскому дворянству позволило хорошо замаскировать организацию большого адриатического об'единения карбонариев, которое по внешности было охотничьим спортивным союзом, а в силу уважения к североамериканской демократии называлось «Братством американских стрелков» (Cacciateri amerieani, или Fratelli americani). Равеннское и болонское простонародье называло этих людей просто «неуловимыми американцами».

Ученый исследователь Триболатти опубликовал в 1899 году три тетради, написанные австрийским шпионом, уполномоченным министра полиции в Вене графа Седменицкого. В этих тетрадях, которые являются инструкторским дневником тайной полиции 1819–1822 годов, мы имеем сводку под названием «Тайна антикарбонарской политики». В одном из таких документов значится, что путешествующий английский лорд Байрон доселе не захвачен в силу его прикосновенности к знатнейшему английскому дворянству, а главным образом потому, что он *сумасшедший*, и мерой пресечения относительно него можно считать простое его нахождение под наблюдением международной полиции «священного союза».

Этим наблюдением выражена вся тактика в отношении Байрона: об'явить его сумасшедшим, отдать под надзор полиции, а затем, ввиду невозможности простого ареста, — пустить в ход сложную интригу. Неожиданно старый Гвиччиоли стал получать оскорбительные анонимные письма. Благоразумный старик, дававший полную свободу своей жене и никогда не страдавший ревностью, внезапно стал предметом насмешек, ему не давали проходу, его забрасывали неизвестно откуда появлявшимися доносами, письмами и оскорблениями. Попытка сохранить спокойствие не удалась. Байрон и Тереза Гвиччиоли жили в это время на вилле Ла Мира, близ Венеции. Туда внезапно явился шестидесятилетний супруг и потребовал возвращения Терезы или по крайней мере ее от'езда из дома Байрона. Произошел серьезный разговор, вследствие которого надо было сделать практический житейский выбор. Тереза Гамба решительно отказалась расстаться с Байроном и со всей прямотой, свойственной ее характеру, сообщила это графу Гвиччиоли.

Старик потребовал развода или от'езда с ним в Романью. Тереза согласилась на развод и сказала, что она никогда не поедет туда, куда запрещен в'езд ее отцу и брату полицией римского первосвященника. Сохранилось письмо Байрона, которое говорит о том, что еще 25 ноября 1819 года он пытался пожертвовать собой и своим чувством для спасения кажущегося благополучия своей подруги.

Но уже 2 января 1820 года Байрон пишет Томасу Муру о том, что из попытки разлучиться ничего не вышло. Старик Гамба сам должен был вызвать Байрона в Равенну. Вот это письмо:

«…По приезде в Равенну Гвиччиоли опять заболела; наконец ее отец (который все время был против «связи») решился написать мне: он писал, что она в таком состоянии, что он сам просит меня приехать; что ее муж согласился, в виду ее болезни; что он (ее отец) ручается мне за то, что больше не будет никаких сцен между ними и что я никоим образом не буду скомпрометирован. Вскоре после этого я выехал, и до сих пор нахожусь здесь. Я нашел ее сильно изменившейся, но ей уже значительно лучше, вот *до чего* доводит чтение „Коринны“…»

Байрон упоминает о чтении «Коринны» не напрасно. Однажды в Болонье, вернувшись из поездки, Байрон не застал дома своей подруги. Он вышел в сад, на скамейке увидел книгу Сталь «Коринна». До нас дошла записка, сделанная на обложке этой книги:

«Дорогая Тереза, я читал эту книгу в вашем саду; вас не было, любовь моя, не то я бы не мог ее прочесть. Это ваша любимая книга, и „автор был моим другом“. Вы не поймете этих английских слов и другие также не поймут их; потому-то я и не пишу по-итальянски. Но вы узнаете почерк того, кто страстно любил вас, и вы угадаете, что над книгой, принадлежащей вам, он мог думать только о любви. В этом слове, таком прекрасном на всех языках, а особенно на вашем — amor mio — заключена вся моя жизнь, и здесь и в ином мире. Я чувствую, что живу здесь, и боюсь, что буду существовать в потустороннем мире. Для чего? — это должны решить вы; моя судьба в ваших руках. Вы семнадцатилетней женщиной, только два года назад, покинули стены монастыря. Я от всей души желал бы, чтобы вы там оставались, или чтобы я по крайней мере не встретил вас замужней женщиной.

Но теперь уже поздно. Я люблю вас и вы меня любите — по крайней мере вы так *говорите и поступаете*, как будто любите. Во всяком случае это большое утешение. Но я больше чем люблю вас и не могу перестать любить.

Думайте обо мне иногда, когда Альпы и океан будут

разделять нас. Но этого не будет, если только вы этого не захотите».

Байрон никогда не говорил таким языком любви, никогда итальянские письма его не звучали так пламенно и живо, как в этот период, но одновременно он писал и другие письма, научившись языку конспирации. Он изучил язык шифра, для которого пользовался обыкновенным католическим молитвенником, он ставил в дневниках этого периода букву «R», которая расшифровывается как предстоящее самое главное событие Италии — Revoluzione{Революция.}. Но открытые, нешифрованные письма к английским и итальянским друзьям содержат лишь легкую критику деятельности правительственных чиновников с веселой припиской: «Я знаю, что Цензурная сволочь будет читать это письмо».

Развод графа Гвиччиоли и Терезы Гамба состоялся. Старый Гамба — отец, молодой Пьетро, ставший другом и обожателем Байрона, — вое согласились на этот шаг. Но бывшая графиня Гвиччиоли должна была заплатить дань общественному лицемерию и опуститься на несколько ступеней ниже по общественной лестнице, ибо многие дома для нее закрылись после этого шага. К чести ее надо сказать, что она перенесла это с большим достоинством> ни словом не намекая Байрону о том, что она перешла на положение добровольной изгнанницы внутри своей страны. Но в это время был нанесен новый удар и ей и семейству Гамба. Письма посыпались теперь уже в руки старика Гамба, а вслед за письмами ему было указано, что по законам итальянского света дочь, разведенная с мужем, возвращается в дом отца. Пришлось покориться этой необходимости. Семья обеспечила Терезе Гвиччиоли небольшой ежегодный бюджет, выдаваемый только при условии, что разведенная Гамба будет жить под одной кровлей с отцом. Местопребыванием семьи была избрана Равенна. Оттуда на всю Италию прозвучали новые терцины, написанные Байроном, — поэма «Пророчество Данте».

Энгельс в предисловии к итальянскому изданию «Коммунистического манифеста» в 1893 году писал: «Закат феодального средневековья, заря современной капиталистической эры, отмечены колоссальной фигурой. Это итальянец, это — Данте, в одно и то же время последний поэт средневековья и первый поэт нового времени. Теперь, как и в 1300 году, начинает вырисовываться новая историческая эра. Даст ли Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения новой пролетарской эры?» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. «Коммунистический манифест». ГИЗ, 1928 г., стр. 56).

И как бы перекликаясь с эпохами, обращающими свои взоры к

величайшему поэту Италии, Байрон начал свою карбонарскую жизнь в Италии с обращения к памяти и тени Данте Алигиери. Как бы в ответ на затаенные поиски подпольных комментаторов Данте, английский карбонарий Байрон влагает в уста величайшего поэта Италии пророчества о будущих судьбах великой страны, сумевшей дать лучезарные образы такой культуры, которая стала достоянием всего мира. Таким образом, в закате великий римской и латинской культуры, в заре итальянского возрождения Байрон не захотел видеть предела, ограничивающего роль Италии ролью классической гробницы человеческих исканий. Наоборот, он считает, что подлинный золотой век человечества впереди, и от романтического восхищения Италией переходит к живому общению с живым итальянским простонародьем: рыбаки и оружейники в «Osteria Boraciana»{Название трактира.}, люди с именами и люди, лишенные всяких имен, давно растерявшие свои имена по австрийским тюрьмам, сделались его друзьями. Недаром Байрон сам говорит о своем новом произведении: «„Пророчество Данте“ — это лучшее из всего, написанного мною, если это только доступно легкому пониманию».

Увы, это произведение было легко понято австрийской полицией и папской жандармерией, ибо никакая история литературы не может изобразить того ужаса итальянских властей, какой овладел ими в день напечатания байроновского «Пророчества Данте». Поэма была принята как сигнал к восстанию и, судя по взволнованности людей около книжных магазинов, у типографий, при простых встречах в городах и на дорогах, — у властей действительно были основания тревожиться за воздействие этой поэмы на Италию. Книга была немедленно конфискована и сожжена рукой палача.

«Пророчество Данте» состоит из четырех песен. Первая из них — это песнь о неблагодарной Флоренции, изгнавшей Данте; вторая —. перспектива бесконечных бед Италии и воскрешение старинного дантовского лозунга: «Об'единение — вот спаситель твой». Третья песнь говорит о единстве итальянской культуры и рассказывает историю Италии, рисуя ее как процесс не только незаконченный, но еще не достигший полного развертывания всех могущественных потенциальных сил этой страны. Четвертая песнь посвящена Риму и тому особенному значению, которое приобретает *политическая поэзия* «безвестных поэтов».

Чрезвычайно интересен здесь взгляд самого Байрона на общественную роль — литературы. Человек, страдающий большими сословными предрассудками, человек, о котором Стендаль писал как о пэре Англии, часто подтверждающем

авторитетность своих высказываний ссылкой на свой титул, этот человек становится защитником такого мировоззрения, которое превращает поэта в творца новых форм общественного строя. Насколько это настроение было сильно, можно видеть из того, что в этот период Байрон самым серьезным образом думал отказаться от титула, принять чужое имя и скрыться из Европы, если итальянское движение будет неудачным, если «R» не осуществится.

Приводим несколько отрывков из дневника Байрона 1821 года и часть отрывочных мыслен и записей из тетрадки «My Dictionary» — «Мой словарь».

Равенна, 4 января 1821 года.

…Под'езжает карета — велю подать пистолеты и плащ, как всегда, — необходимейшие предметы. Погода холодная — карета открытая, а жители довольно дики — порядочные изменники, и разгорячены политикой. Однако все же — молодцы, хороший материал для нации. Бог создал мир из хаоса, народ создается великими страстями.

6 января 1821 года.

…Думал о положении женщин в древней Греции — вполне удобно. Нынешнее положение, остаток варварства рыцарских и феодальных времен, — искусственно и неестественно. Они должны следить за домом, быть хорошо одеты и сыты, но не ходить в общество. Хорошо образованы в области религии — но не читать ни поэзии, ни политических сочинений: только духовные и поварские книги. Музыка — рисование — танцы и от времени до времени немножко садоводства и земледелия. Я видел, как они прекрасно чинят дороги в Эпире. Почему нет, наряду с сенокосом и доением коров?

…Сегодня вечером в театре в последней сцене комедии был представлен принц на троне; публика со смехом потребовала у него «конституции». Это характерно для настроения умов, как и убийства. Так не может продолжаться далее. Должна быть мировая республика — это действительно необходимо…

…В чем причина, что я всю свою жизнь был более или менее «скучающим»? Пожалуй, теперь я страдаю этим меньше, чем в двадцать лет, насколько я могу припомнить. Не знаю, как ответить на этот вопрос; по всей вероятности, это органическая особенность, как и дурное настроение, с которым я просыпаюсь по утрам вот уже много лет. Воздержание и спорт мало помогали мне, хотя я подолгу отдавался тому и другому вместе. Сильные страсти помогали, — находясь под их влиянием я чувствовал себя

в повышенном, но не подавленном настроении.

Доза пахучих солей действует на меня возбуждающе, как легкое шампанское. А вино и спирт делают меня мрачным и диким вплоть до жестокости; однако я становлюсь молчаливым и сдержанным и не ищу ссоры, если со мной не разговаривают. Плавание тоже поднимает мое настроение, но обычно оно неважное и с каждым днем ухудшается. Это *безнадежно*, хотя мне кажется, что я не так «скучаю», как в девятнадцать лет. Доказательством служит то, что прежде я должен был играть, пить или Двигаться, иначе я чувствовал себя совершенно несчастным. Теперь я могу сидеть спокойно и предпочитаю одиночество обществу, за исключением общества той дамы, которой я служу. Но мне почему-то кажется, что если я доживу до старости, то, как Свифт, «сначала умру духовно». Но я не боюсь идиотизма или сумасшествия в такой степени, как он боялся. Напротив, я полагаю, что тихое безумие нередко предпочтительнее того, что люди называют нормальным состоянием.

…Граф Пьетро Гамба отвел меня в сторону и сообщил, что патриоты получили известие из Форли (за 20 миль) о намерении правительства и его партий предпринять в эту ночь решительный удар — здешний кардинал получил приказ произвести несколько арестов немедленно; поэтому либералы вооружаются и расставляют патрули на улицах, чтобы забить тревогу и подать сигнал к сражению.

Он спросил меня: «Что делать?» Я ответил: «Лучше бороться, чем быть застигнутым врасплох». Я предложил ему принять к себе в дом (который можно защищать) тех из них, кому угрожает немедленный арест, и защищать их с помощью моих слуг и их собственными силами (у нас есть оружие и снаряды) до последней возможности, или постараться помочь им бежать отсюда под покровом ночи. На обратном пути я предложил ему мои пистолеты, но он отказался; он обещал притти ко мне в случае необходимости.

До полуночи остается еще полчаса; идет дождь, как говорит Джиббет: «прекрасная ночь для такого предприятия: темна, как ад, и ветер дует, как дьявол». Если свалка не произойдет *теперь*, то произойдет скоро. Я был уверен, что их система подстреливать людей должна вызвать отпор, и теперь он надвигается. Я постараюсь сделать, что могу, в этой борьбе, хотя давно не упражнялся. Борьба идет за хорошее дело.

Перелистал кучу книг, чтобы найти нужный отрывок, но не нашел его. Все время жду барабана и перестрелки (они поклялись

сопротивляться, и правы) — ничего еще не слышно, только дождь плещет и ветер завывает по временам. Не хочу ложиться в постель, терпеть не могу, когда меня будят; лучше подожду начала столкновения, если оно будет.

Поправил огонь — достал оружие и несколько книг, которые буду перелистывать. Я мало осведомлен о их численности, но полагаю, что карбонарии достаточно сильны, чтобы бороться против войск даже здесь. С двадцатью людьми можно защищать этот дом в течение двадцати четырех часов против того количества войск, которое можно собрать в этом месте в течение такого же срока; а за это время весть может распространиться по стране, и начнется восстание, если вообще оно начнется когда-нибудь, в чем я несколько сомневаюсь. Пока я могу заняться чем-нибудь или почитать, так как я совершенно один.

8 января 1821 года, понедельник.

Встал и нашел у себя графа П. Гвиччиоли. Отослал прислугу. Он сообщил мне из достоверных источников, что правительство не отдавало приказа об арестах; ожидаемое в Форли нападение санфедистов (так называются противники карбонариев) не состоялось, и пока существуют только опасения. Он попросил у меня лучшего оружия; я дал ему. Мы условились, что в случае схватки либералы соберутся здесь (у меня); для этой цели он передал пароль Винченцо Гамба и другим вождям. Он сам со своим отцом отправился в лес на охоту; но Винченцо Гамба придет ко мне, а Пьетро Гамба будет послан гонец в случае опасности. Обсуждали план действия. Они должны захватить… однако, это не существенно.

Я советовал им атаковать одновременно, но в разных местах и отдельными отрядами, чтобы разбить внимание противника, потому что в правильном бою регулярные войска, при всей своей малочисленности, легко сумеют справиться с гораздо большим числом необученных повстанцев — если только им не придется разбиться на небольшие группы и отражать нападение одновременно с разных сторон. Предложил им собраться здесь, если захотят. Это прочный пост — улица узкая, вся под обстрелом из дома, и прочные стены…

…Интересно, как эти итальянцы будут вести себя в настоящем бою. Иногда мне кажется, что с ними повторится история ирландца, которому кто-то продал кривое ружье; он мог стрелять только «из-за угла»; во всяком случае такого рода стрельбой ограничиваются их последние подвиги. И все же есть материал в этих людях и благородная энергия, если только

хорошо направить ее. Но кто может направить их? Все равно… Такие времена порождают героев. Затруднения — бродило для великих умов, а Свобода — мать тех немногих добродетелей, которые достались на долю человечества.

Вторник, 9 января 1821 года.

….Смена столетий *меняет* все — время — язык — землю — границы моря — звезды небес, все «вокруг, вверху и внизу» человека; только *он сам* остается тем, чем он всегда был и будет — несчастным негодяем. Бесконечное разнообразие жизней ведет только к смерти; а бесконечные желания ведут к одному разочарованию…

…В восемь я вышел — узнал несколько новостей. Говорят, что король Неаполитанский сообщил союзным державам (так теперь называют этих коронованных негодяев), что его конституция была вынужденной и т. д., и т. д. и что скоро должны выступить. Австрийские варвары опять переведены на *военное* жалование. Пусть они являются «как жертвы к алтарю», эти адские псы! Остается надежда увидеть их кости сложенными, как кости людей-псов в Морате в Швейцарии, где я был.

Слушал музыку. В 9 обычные гости — новости, *война* или слухи о войне. Совещался с Пьетро Гамба и т. д., и т. д. Они намерены здесь устроить восстание и хотели оказать мне честь приглашением присоединиться. Я не отступлюсь, хотя не считаю их достаточно мужественными и сильными, чтобы из этого что-нибудь вышло. Но *вперед*! — теперь время действовать: что значит свое «я», если хотя бы одна искра того, что достойно прошлого, может быть передана не угасшей для будущих времен? Это не один человек, не миллионы, это *дух свободы*, который надо распространить волны одна за другой разбиваются о берег, но тем не менее побеждает *океан.* Он поглощает Армаду, — разрушает скалы и, если верить *нептунианцам*, он не только разрушил; но и построил целый мир. Таким же образом, каковы бы ни были жертвы отдельных лиц, великая цель соберет силы, сметет все шероховатости и оплодотворит землю, годную для обработки (ибо морские травы тоже удобрение). Эгоистический расчет никогда не должен приниматься во внимание в таких случаях.; и в данный момент он для меня не существует. Я никогда не умел вычислять шансы, и теперь не собираюсь этим заниматься.

11 января 1821 года.

А. пишет мне, что папа, герцог Тосканский и король Сардинский тоже были позваны на конгресс; но папа будет

представлен своим послом; таким образом интересы миллионов находятся в руках двух десятков дураков, собравшихся в каком-то Лейбахе!

Мне кажется, я сожалел бы даже, что мои личные дела идут хорошо, в то время как целые нации в опасности. Если бы положение человечества (особенно угнетенных итальянцев) могло быть улучшено этим, я бы охотно пожертвовал своими «личными делишками». Дай нам, боже, лучшие времена или побольше философского отношения к событиям!

13 января 1821 года.

…Обедал. Пришли новости — державы хотят бороться с народами. Весть эта, кажется, достоверна — пусть так — в конце концов они будут побеждены. Времена королей быстро приходят к концу. Кровь будет литься, как вода, и слезы, как туман; но в конце концов победят народы. Я не доживу, чтобы увидеть это, но я это предвижу…

23 января 1821 года.

…Прекрасный день. Читал — ездил верхом — стрелял из пистолета и возвратился. Обедал — читал. В восемь вышел — сделал обычный визит. Слышал разговоры только о «войне» — попрежнему, общий крик — «они приближаются». У карбонариев, кажет ся, нет никакого плана; не решено ничего — как, когда и каким образом выступить. Значит, они никогда не приведут в исполнение своего проекта, который откладывали так часто и ни разу не пытались привести в исполнение…

24 января 1821 года.

Возвратился домой — встретил на Корсо несколько масок — «да здравствует веселье!» Немцы у По, варвары у ворот, их хозяева совещаются в Лейбахе. И что же они танцуют и поют, «может быть завтра они умрут. Кто может сказать, что арлекины неправы?»

….Если они соберутся — «что подлежит сомнению» — они не наберут и тысячи человек. Причина та, что простой народ не заинтересован, — только высший и средний класс. Я хотел бы, чтобы крестьяне примкнули; это прекрасная дикая порода двуногих леопардов. Но болонцы не хотят, а романьольцы без них не могут. А если они попытаются — что тогда? Они попытаются, большего человек не может сделать — но если бы только он захотел попытаться изо всех сил, можно было бы сделать многое.

26 января 1821 года.

…Вышел — зашел к Т. Как всегда — музыка. Джентльмены, делающие революцию и уехавшие тем временем на охоту, не вернулись до сих пор. Они не вернутся до воскресенья — иначе говоря, в течение целых пяти дней они занимались глупостями, в то время как дело идет об интересах целой страны, и сами они участвовали в этом деле.

ЗАМЕТКИ

Что такое поэзия? — Ощущение предшествовавшего мира и мира будущего.

Почему на самой вершине желания и счастия человеческого — светских — удовольствий, общественных, любовных радостей, наслаждений самолюбия или скупости — примешивается всегда какое-то чувство сомнения и печаля — страх перед грядущим — сомнения в том, что есть воспоминание о прошедшем, ведущее к предвидению будущего (Прошедшее — лучший из прорицателей будущего.) Почему это так, я не знаю — разве потому, что на вершине мы легче всего поддаемся головокружению и боимся упасть только когда стоим над пропастью — чем выше, тем страшнее и величественнее; поэтому я не знаю, не является ли страх приятным ощущением; по крайней мере *надежда* приятна; а разве *надежда* бывает без страха? и какое чувство так сладостно, как надежда?, и если бы не было надежды, где бы находилось будущее? — в аду. Бесполезно говорить о том, *где* находится настоящее: это знает большинство из нас; что касается прошедшего, *что* главенствует в нашей памяти? — *обманутая надежда*. Итак, во всех делах человеческих — надежда — надежда — надежда…

Граф Пьетро Гамба (по поручению карбонариев 30 января 1821 года) передал мне новые пароли на следующие шесть месяцев *ххх* и *ххх*. Новый священный пароль *ххх*, ответ *ххх*, обратный ответ *ххх*. Прежнее слово (теперь измененное) было *ххх*; есть еще *ххх* и *ххх*. Дело, кажется, приближается к кризису.

5 февраля 1821 года.

Наконец, «печь накалилась». Немцы получили приказ наступать. Италия в десятитысячный раз превратилась в поле битвы. Известие получено прошлой ночью…

9 февраля 1821 года.

…перед тем, как я выехал, меня посетил граф Пьетро Гамба, чтобы сообщить мне о результате совещания между карбонаристами, в Ф. и Б. Вернулся вчера поздно ночью. Все было условлено на основании предположения, что варвары переправятся через По 15-го. Вместо этого, будучи заранее осведомлены, они ускорили свои действия и перешли уже два дня тому назад; таким образом, в данный момент в Романье можно только быть начеку и ждать выступления неаполитанцев. Все было готово, неаполитанцы сообщили свои собственные инструкции и намерения; они были рассчитаны на 10-е и 11-е, когда должно было быть поднято всеобщее восстание, исходя из предположения, что варвары не могут выступить ранее 15-го.

Однако у них всегда пятьдесят или шестьдесят тысяч войска, численность, с которой так же трудно покорить мир, как овладеть Италией в ее теперешнем состоянии. Артиллерия идет *одна последней*: существует идея попытаться послать на нее нападение и часть отрезать. Но все это будет зависеть от первых шагов неаполитанцев. *Здесь* общее настроение великолепное, если только сумеют его поддержать. Все это выяснится в дальнейшем.

Возможно, что Италия будет освобождена от варваров, если только неаполитанцы окажут сопротивление, будут действовать единодушно. *Здесь* такое единодушие, повидимому, существует…

16 февраля 1821 года. Вчера вечером граф Пьетро Гамба, не предупредив меня ни о чем, хотя я видел его не далее как за полчаса до того, послал ко мне человека с мешком ружей и мушкетов и несколько сот патронов. Дней десять тому назад, когда ожидалось восстание, мой братья карбонарии оросили меня приобрести оружие для некоторых из наших сообщников. Я тотчас же исполнил просьбу, заказал амуницию и т. д., так что они могли вооружиться. Теперь — восстание предупреждено варварами, которые выстукают на неделю раньше, чем предполагалось; правительство издает приказ, что «все лица, скрывающие оружие и т. д., и т. п. будут привлечены к ответственности и т. д.». Что же делают мои друзья, патриоты, через два дня? Они просто сбрасывают мне на руки и в мой дом то самое оружие, которое я для них же купил на свой риск и страх (не считая даже нужным предупредить меня об этом).

К счастью Лега был дома и принял груз. Если бы кто-нибудь другой из прислуги (кроме Тита, Леги и Ф.) знал об этом, меня немедленно предали бы. А пока что, если их выдадут или откроют, я попаду в переделку…

18 февраля 1821 года.

…Сегодня я не имел никаких известий от своих друзей карбонаристов; между тем мои подвалы полны штыков, ружей, патронов и всякой всячины. Я думаю, что они смотрят на меня как на склад, которым придется пожертвовать в случае опасности. Не важно, кто и что будет принесено в жертву, если Италия будет свободной. Это — высокая цель, сама поэзия политики. Подумать только — свободная Италия. Ничего подобного не было со времени Августа. Я считаю времена Юлия Цезаря свободными: можно было примкнуть к любой стороне, а партии были почти равносильными вначале. Но потом все дела стали решать преторианцы и легионеры, — а теперь мы увидим, или по крайней мере кто-нибудь увидит, какая карта откроется. Лучше верить даже в безнадежное. Голландцы сделали больше в семидесятилетнюю войну, чем предстоит этим людям.

21 февраля 1821 года.

Дело начинает запутываться. Папа издал декларацию против патриотов, которые, говорит он, замышляют восстание. Следствием этого будет то, что через две недели вся страна поднимется. Прокламация еще не опубликована, но напечатана и приготовлена к раздаче, *xx* частным образом прислал мне оттиск; значит он не знает, как ему быть. Когда он хочет задобрить патриотов, то посылает то или иное дружеское известие.

Лично мне кажется, что только абсолютный успех варваров может предотвратить общее и немедленное восстание всего народа…

24 февраля 1821 года.

…Тайное сообщение, полученное карбонариями сегодня утром с границы, самое дурное. *План* — не удался, — главари преданы, как военные, так и штатские, — неаполитанцы не только не выступили, но об'явили папскому правительству и варварам, что они понятия ни о чем не имеют!!!

Так все происходит на свете; и так итальянцы всегда остаются побежденными из-за недостатка единения между собой. Что будет предпринято *здесь*, меж двух огней, отрезанными от неаполитанской границы, еще не решено. Мое мнение было — что лучше восстать, чем быть захваченными поодиночке: как вопрос будет решен, я не знаю. Посланы гонцы к делегатам других городов, чтобы узнать об их решении.

Мне всегда казалось, что дело *прогорит*; но мне хотелось верить и хочется до сих пор. Все, что могу сделать деньгами, средствами или лично, все я охотно отдам для их свободы; это я

повторил им полчаса тому назад (у меня было несколько главарей). У меня две тысячи пятьсот скуди, это больше пяти тысяч фунтов, и для начала я предложил их…

Равенна, 1 мая 1821 года.

Среди различных журналов, памяток, дневников и т. д., которые я вел в течение всей своей жизни, я начал дневник приблизительно три месяца тому назад; я вел его до тех пор, пока не заполнил тетрадки (довольно тоненькой) и около двух листов новой. Затем я его бросил: отчасти я полагал, что у нас здесь будет «дело», и я приготовил оружие и сам приготовился, чтобы присоединиться к здешним патриотам. Мои ящики были переполнены их прокламациями, клятвами и резолюциями, а мои подвалы скрывали их разнокалиберное вооружение. Отчасти же я прекратил дневник потому, что тетрадка окончилась. Но неаполитанцы предали себя и весь мир, и те, которые хотели пожертвовать для Италии своей кровью, могут только жертвовать ей свои слезы.

Когда-нибудь, если я не обращусь в прах, я смогу быть может пролить некоторый свет на то предательство, которое снова погрузило Италию в варварство. Для этого я достаточно был посвящен в тайну (по крайней мере — в этой части страны). Сейчас у меня нет ни времени, ни настроения. Однако *настоящие* итальянцы не виноваты; обвинять можно только негодяев, находящихся на «каблуке того сапога», который надел на себя гунн; теперь зато он раздавит их в прах за их раболепство.

Я рискнул быть здесь заодно с другими; насколько я скомпрометирован, это выяснится в ближайшее время; многие из них, как «Крэгенгельдт», скажут «все и даже больше того, что им известно», ради своего собственного спасения; но будь что будет, цель была великая, хотя теперь выглядит так, как если бы греки сбежали от Ксеркса…

…И все же трудно сказать, что создает худших правителей, — наследственное право или народный выбор. Римские консулы хороши, но зато они правили всего год и как бы чувствовали личное обязательство выделиться. Еще труднее сказать, какое правительство *самое дурное* — все так плохи. Что касается демократии — это худшее из всех; ибо что такое (фактически) демократия? Аристократия головорезов…

…Моя мать, когда мне еще не было двадцати лег, говорила, что я похож на Руссо; мадам де Сталь говорила в 1813 году то же

самое; нечто подобное было сказано в критике IV песни «Чайльд Гарольда», помещенной в «Эдинбургском Обозрении». Не вижу ни одной сходное черты: он писал прозу, я стихи; он вышел из народа, я — аристократ; он — философ, а я — нет; он напечатал свое первое произведение в сорок, я в восемнадцать лет; первая печатная книга его заслужила всеобщее — одобрение, моя — наоборот; он женился на своей экономке, а я не мог поладить со своей женой; он считал, что весь мир в заговоре против *него,* мой маленький мирок думает, что я составил заговор против всего мира — по крайней мере если судить по нападениям на меня в печати и в различных кликах. Он любил ботанику, я люблю цветы, травы и деревья, но ничего не знаю о их родословной; он писал музыкальные произведения, мои знания в этой области ограничиваются слухом; я никогда ничему не мог научиться путем работы, только зубрежкой, ухом и памятью; у него была скверная память, а у меня по крайней мере *была* хорошая; он писал с сомнениями и заботой, я быстро и без труда; он никогда не умел ездить верхом и плавать, ни ловко фехтоваться — я прекрасный пловец, приличный, хотя и не блестящий наездник (с тех пор как в восемнадцать лет сломал ребро при стремительной езде) и в фехтовании был довольно силен, особенно на шотландских палашах; был я и не плохим боксером, особенно когда умел сдерживать свою горячность, что чрезвычайно трудно; однако я постепенно старался сдерживаться, с тех пор как в 1806 году во время состязания у Анджело и Дженсона сшиб с ног мистера Перлинга, вывихнув ему коленную чашку (несмотря на перчатки); кроме того я был прекрасным игроком в крикет, одним из одиннадцати от Гарро против Итона, в 1805 году. Кроме того образ жизни Руссо, его родина, его манеры, весь его характер настолько различны от моих, что я теряюсь в догадках, как такое сравнение могло быть сделано три раза подряд и… довольно интересным образом. Я забыл сказать, что он был близорук, а мои глаза до сих пор диаметрально противоположны этому, до такой степени, что в самом большом театре в Болонье я рассмотрел и прочел рисунки и надписи около сцены из чрезвычайно отдаленной и плохо освещенной ложи, причем никто из присутствовавших (а общество состояло из молодых людей с прекрасным зрением) не мог разобрать ни единой буквы; все думали, что это фокус, хотя я до этого ни разу не был в этом театре.

Из всего этого я вывожу, что сравнение ни на чем не основано. Я говорю это не из обиды, так как Руссо был великолепным человеком, и сравнение было бы очень лестным, если бы было правильным; но мне не может притти в голову

радоваться химере…

Насколько простирается слава (т. е. слава при жизни), я получил свою долю — пожалуй, *наверно* большую, чем *заслужил*. Странные вещи пришлось мне самому испытать по поводу того, в какие неожиданные и дикие места может проникнуть имя человека и где оно может запечатлеться. Года два (почти три) тому назад, в августе или июле 1819 года, я получил в Равенне письмо… из Дронтгейма в Норвегии, переполненное обычными комплиментами… В том же месяце я получил приглашение в Голштинию от какого-то мистера Якобсена (если не ошибаюсь) из Гамбурга. Странно было получить приглашение провести лето в *Голштинии*, находясь в *Италии*, от людей, которых я никогда не видел. Письмо было адресовано в Венецию. Мистер Дж. говорил мне «о диких розах, растущих летом в Голштинии»: зачем же в таком случае эмигрировали кимвры и тевтоны?

Какая странная вещь — жизнь и люди! Если бы я постучался в дверь того дома, в котором живет моя дочь, дверь захлопнулась бы перед моим носом, если бы только я не сбил с ног швейцара (что не лишено возможности); а если бы я в тот год (и даже теперь) отправился в Дронтгейм (самый отдаленный город Норвегии) или в Голштинию, я был бы встречен с распростертыми об'ятиями в доме чужих мне людей, иностранцев, не связанных со мной никакими узами, кроме духовных, ничем, кроме отдаленных слухов.

Поскольку возможна *слава*, я получил свою долю: конечно, она была уменьшена другими человеческими несчастиями, и это в большей степени, чем у других писателей, принадлежащих к приличному обществу; в целом я думаю, что такое равновесие — необходимое условие человеческой жизни.

Я часто сомневаюсь в том, насколько жизнь спокойная и без волнений оказалась бы по моему вкусу: все же иногда я даже тоскую по ней. Самые ранние мои мечты (как обыкновенно у мальчиков) были воинственными; но немного позже я мечтал о любви и уединении, пока не началась несчастная привязанность к Мери Чаворт, которая продолжалась довольно долгое время в моем раннем отрочестве (хотя усиленно подавляемая). Это снова выбросило меня «одного в далекое, далекое море».

В общем я не особенно лажу с литераторами; не потому, что я не люблю их, но я никогда не знаю, о чем говорить с ними после того, как похвалил их последнее произведение. Конечно, есть несколько исключений; но это либо светские люди, как Скотт, Мур и др., или мечтатели, как Шелли и т. д.; с обычными нашими литераторами у меня никогда не было ничего общего, в

особенности с иностранцами, которых я не мог выносить…

Мы видели, что Байрон обладал довольно ясным представлением о силах и способностях той организации, в которую он вступил. Общая политическая ситуация Европы была такова, что организации «священного союза» были встревожены, возникали новые конгрессы европейских монархов, не находивших способа предотвратить вспыхивавшие повсюду восстания. Напряжение было таково, что Байрон при всем скептическом отношении своем к способностям карбонарской верхушки не мог не воскликнуть: «Подумайте только, *Италия будет свободна*!»

Для Байрона наступил момент, когда он поверил не только в правоту этого дела (от этого убеждения он никогда не отступал), но и в реальный успех карбонарской политической операции. С 1820 года начались революционные вспышки по всей Европе и докатились до Сенатской площади царского Петербурга в декабре 1325 года Во Франции, где царствовал Людовик XVIII, готовились мероприятия, возвращавшие Францию в глухое и темное средневековье.

В Испании после перерыва наполеоновских войн снова воцарился Фердинанд VII Бурбонский, который так же, как и будущий Карл X граф д'Артуа, составлял проскрипционные списки молодого офицерства и удалял его из Испании при малейшем намеке на военный заговор или освободительные стремления. Шпионаж в среде военной молодежи обнаружил для Бурбонов наличие военной конспирации на территории Испании и связь этих конспирации с карбонарскими организациями Италии. Фердинанд VII решил сформировать сводный испанский отряд и под предлогом отправки в Америку погрузить его и разоружить на кораблях. 1 января 1820 года испанские офицеры во главе с командиром Риего подняли военное восстание на острове Леоне под лозунгом: «Да здравствует власть народа!» С маленьким отрядом в полторы тысячи человек Риего прошел тысячу километров по Испании из города в город. Население приветствовало его горячо, но отряд его численно не возрастал, оружия не было. Риего, боясь бесплодности своих революционных усилий, хотел распустить свой отряд, когда внезапно три города присоединились к восставшим. Тогда Риего заговорил полным голосом, и перепуганный король под его диктовку согласился на народоправство, издал манифест об уничтожения инквизиционных пыток и запрещении церковных судов, а 9 марта торжественно принес присягу на верность новому строю.

Весть об этом движении с быстротой молнии облетела Европу. Испуганные северные монархи зашевелились, а в Италию

прибыли те представители итальянских военных организаций, которые создали, на основе связи с Испанией, революционную прослойку в каждой роте, в каждом эскадроне, независимо от подданства и подчинения итальянцев, носивших военную форму. Шелли первый приветствовал пламенными стихами испанскую революцию, беря эпиграфами к этим стихам строчки из Байрона.

Больше всего имел основание опасаться восстания южноитальянский Бурбон, Неаполитанский король Фердинанд. Он уже давно сдерживал нараставшее движение отрядами наемных бандитов, охотно продававших свои ножи и петли тем, кто дороже платит. Из этих наемных убийц, непосредственных слуг иезуитского ордена и папы, составлялись и отряды жандармов и будущие банды *кальдерариев,* как противовес карбонарским организациям. По-итальянски caldo значит — тепло, calderajo — котельщик; calderari del contrapéso — организация; столь же мало связанная с профессией котельщика, как я carbonajo с профессией угольщика. Зачисление в кальдерарии происходило тайно, кальдерарии ни по внешности, ни поведением ничем не отличались от горожан и крестьян, но когда такого человека заставали с поличным в качестве убийцы, то его безнаказанность, бросалась в глаза мирным жителям итальянской деревни или городской окраины, и таким образом внезапно узнавали страшную правду об этом человеке. Но эти организации не помогали. Как всякое об'единение, возникшее на почве беспринципной ненависти, на почве денежной выгоды и подкупа, организация кальдерариев не могла ни остановить, ни локализовать стихийный рост карбонаризма.

2 июля 1820 года по звону карбонарского колокола в маленьком городе Неаполитанской области, Нолла, офицер Морели дал сигнал Нолланскому гарнизону к восстанию. Родина Джордано Бруно сделалась родиной карбонарского восстания. Занимая австрийские гелиографы, башни и вышки светового телеграфа, солдаты быстро двинулись в Неаполь, и Неаполитанское королевство с необычайной быстротой пошло по пути испанской революции. Фердинанд Неаполитанский торжественно присягнул народовластию словами: «Да поразит меня всевышний миродержатель, если я своим словом и помыслом нарушу верность власти народа моего».

После этой присяги 8 января 1821 года Фе рдинанд Неаполитанский сделал вид, что он, получив приглашение на конгресс королей, везет свою преданность конституции на север, и уехал в Лайбах, куда вскоре приехали из Троппау прусский король, императоры австрийский и всероссийский. Монархи «священного союза» начали заседать 3 октября 1820 года.

Ад'ютант Александра I привез в Троппау сообщение о бунте Семеновского гвардейского полка, а из Португалии приехал английский уполномоченный с жалобами на то, что столица Португалии Лиссабон занята революционными войсками Сепульведы, который выгнал английского контрреволюционера лорда-маршала Бересфорда. А когда из маленького городка австрийской Силезии монархи переехали в захолустный Лайбах, то прибыли сведения о том, что восстание перекинулось в Турин, где старый король Виктор Эммануил отрекся от престола, а его брат, моденский царек, не мог воспользоваться предоставленной ему королевской короной. Провокационное регентство получил Карл Альберт, принц Кариньяно, и североитальянские карбонарии сделали первую ошибку, приняв в карбонарскую конспирацию этого коронованного провокатора. Сатирические стихи итальянского горняка, карбонария Берше, клеймят и «кариньянскую собаку», как он называл короля Альберта, и тех *«ступидо»* — дураков, которые приняли его в военную конспирацию. Итак, все главные города южной Европы пылали в огне революции. Александр I заявил начальнику, требовавшему кровопусканий: «Вы правы, я вижу проявление страшной болезни, нужны крайние лекарства».

«Соблюдая полное единодушие, в целях силой оружия и добрым посредничеством предупреждать новые революционные бедствия, грозящие Европе», императоры, короли и герцоги двинули 27 февраля генерала Фримоно во главе пятидесяти двух тысяч австрийских солдат к неаполитанской границе. По твердому настоянию русского царя Италия была отдана в жертву Австрии, при тайной поддержке Англии и Франции.

24 марта австрийская интервенция раздавила карбонарское движение на юге Италии. И так же как Фердинанд Испанский приказал убить Риего, так и здесь Фердинанд Неаполитанский, забывая все свои клятвы, вступил во дворец, окруженный сорокатысячным австрийским гарнизоном. Одновременно шестнадцать тысяч австрийцев с генералом Бубна заняли 9 февраля Турин. Верховный австрийский суд в Милане, в Венеции и в Турине в первые же дни произвел арест нескольких тысяч наиболее влиятельных и наиболее независимых итальянских граждан. В Милане, в Венеции и в Турине начались мучительные допросы, аресты, конфискации, люди исчезали среди бела дня безвозвратно, матери не могли дождаться взрослых детей, дети не знали, куда исчезли отцы, а тюремные камеры Шпильберга — крепости в Моравии, Пломбы — свинцовые тюрьмы под крышей Дворца Дожей в Венеции, Мантуанские Колодцы и карцеры замка св. Ангела в Риме, сицилийские рудники и неаполитанские

галеры наполнились итальянской интеллигенцией, рабочими, крестьянами, солдатами революционных войск.

В порядке обмена международным революционным опытом, быть может в порядке сохранения больших революционных традиций Великой французской революции, совершались поездки из одной страны в другую, взаимные обмены представителями больших карбонарских организаций. Так, мы видим испанских карбонариев в Италии, итальянских карбонариев во Франции, и обычная традиция сообщает, в качестве подробностей этого мало изученного периода, что разгром карбонарского движения в Италии вызвал усиленный приток карбонарских элементов во Франция.

По делу миланских карбонариев был привлечен в Санта-Маргарита (помещение австрийской полиции в Милане) француз Андриан. После освобождения из Шпильберга он выпустил четырехтомные записки о своем пребывании в тюрьме. Такие же записки выпустил впоследствии Сильвио Пеллико. Эти документы вышли уже после июльской революции 1830 года в Париже. Они раскрывают перед читателем печальную картину падения революционного духа в, авторах. Если Андриан был подлинным другом ученика Бабефа — Буонаротти, то Сильвио Пеллико никогда настоящим революционером не был, и тем не менее оба они являют собой пример полного угасания первоначального морально-политического облика, — быть может под влиянием тюрьмы, а быть может и в силу того, что в них обоих не было того подлинного революционного духа, который позволяет людям более высокой настроенности донести свой факел до конца жизненного пути неугасшим.

Но если часть, и значительная часть карбонариев, уцелевших во время движения, отошла от политики, то Байрон как будто именно в силу этих неудач еще более укрепился на своей политической позиции. Строчки о том, что «не все ль равно за чью свободу кровь пролить», чередуются с соображениями:

> Что ж, если ты вступить не можешь в бой
> За собственный очаг, — борись за дом соседа.

И Байрон боролся за дома всех своих соседей.

Несмотря на все старания правительства навести хотя бы внешнее политическое спокойствие в Англии, английское подпольное движение, чрезвычайно разнообразное, очень неоднородное по составу и по программам, выросло до неожиданных размеров. Формальное наименование принца Уэльского, регента Георга — королем Англии Георгом IV,

которого ненавидел Лондон и ненавидел английский народ, было ознаменовано неожиданным проявлением этого движения. Ожидаемое облегчение не наступило, подбор реакционных министров принца-регента остался тот же. Внешняя политика лорда Кестльри превращала Англию в душительницу всякой свободной мысли. Один из «недовольных», Тистель Вуд, поступил в лондонскую милицию, дослужился до лейтенанта, а затем после тщательной подготовки собрал в доме на Катор-Стрит тридцать своих единомышленников, проследив секретный обед, на который должны были собраться крупнейшие сановники Англии. Заговор был раскрыт случайно. Английские карбонарии были арестованы и казнены. Процесс, протекавший негласно, сделался все-таки достоянием публики и сам по себе вызвал волнение.

Чрезвычайно характерной чертой для того круга английского общества, который предпринял гонение на Байрона, было появление слуха о том, что Байрон намеревается примириться с принцем-регентом и собирается приехать на его коронацию. Родные и «друзья» сеяли слух за слухом, совершенно не считаясь с реальным Байроном и рисуя по-своему характеристику поэта. В такой обстановке наступил самый день коронации, 18 июля 1821 года.

К этому времени приехала в Англию невольная путешественница, дама на возрасте, Каролина Брауншвейгская — супруга принца-регента. Ей было уже свыше пятидесяти лет. Выгнанная из Англии, она совершала малопристойные поездки по Европе со своим любовником, камердинером Бергами, которого она ежедневно награждала всевозможными фантастическими и ничего не стоящими чинами и званиями, изобретая для него ордена, не скупясь на золото, эмаль и ленты. 18 июля, после полудня, карета королевы Каролины, запряженная шестеркой, подкатила к великолепным воротам Вестминстерского аббатства. Из кареты вышла нарумяненная обрюзгшая дама, намереваясь без всякого приглашения войти и стать рядом с супругом, чтобы на старости лет заработать долгожданную корону Англии. Настойчивость этой дамы была настолько велика, что она успела вбежать на ступеньки, но во-время схваченная под руки дюжими полицейскими была по знаку церемониймейстера снова втиснута в карету, несмотря на то, что отчаянно защищалась руками и ногами, затрудняя впихивание ее грузного тела в узкие дверки кареты. Полицейский вскочил на место форейтора, выхватил у него бич и быстро погнал взбесившихся лошадей подальше от Вестминстера, где нетрезвый король с багровым лицом надевал на себя корону Англии. На следующий день по жалобе его величества короля Георга IV парламент слушал дело об отдании

под суд королевы за проституцию.

Как по сигналу, как раз в часы разбора в палате лордов дела королевы, с палубы английских и иностранных кораблей на Темзе началась высадка Целого батальона свидетелей супружеской неверности ее величества. Это были кельнеры иностранных ресторанов, портье из богатейших казино и игорных домов Европы, горничные домов свиданий и служанки ночных военно-увеселительных заведений Италии. Созванные со всех концов Европы, эти люди совершили бесплатное путешествие в Лондон. Хорошо оплаченные, содержавшиеся всю дорогу на средства первого английского лорда Георга IV, отпускаемые из цивильного листа, эти люди открыли своими свидетельскими показаниями первые страницы многотомного, самого скандального судебного процесса его величества первого джентльмена Англии, именуемого королем Георгом IV. Весь этот материал печатался на страницах большой лондонской прессы в, течение трех недель. Наконец, суд палаты лордов, донявши Георга. IV «недостаточностью улик», порекомендовал ему взять дело назад.

Через несколько часов после сообщения об этом Каролина умерла, и лондонские обыватели превратили день ее похорон в демонстрацию против короля-отравителя. Закрывались магазины, срывали траурные плакаты, полиция стреляла и убивала людей, ибо при проезде Георга раздавались крики: «Долой короля-ядомешателя, долой отравителя!» Для Каролины было вполне достаточной отравой «трехнедельное пребывание под градом газетных обвинений на территории Англии», ибо в этой стране уменье травить людей при посредстве печати достигло редкого мастерства, и нужно было иметь немалое мужество, чтобы выдерживать нападки английской печати, в особенности нападки систематические и планомерно проводимые.

Иммунитет, выработанный в этом отношении Байроном, осуществлялся им как глубоко осознанный технический прием самозащиты. Все разговоры историков литературы относительно «необузданности байроновского нрава, безмерности его самомнения» опровергаются письмом Байрона к Шелли по поводу смерти поэта Китса, затравленного критикой: «Мне очень прискорбно было услышать, что вы сообщаете о Китсе. Да правда ли это? Я не думал, чтобы критика была так убийственна». И далее: «Я припоминаю впечатление, произведенное на меня критической статьей „Эдинбургского Обозрения“ о моем первом произведении{«Часы досуга».}: это была ярость, желание отомстить получить удовлетворение, но не отчаяние и не упадок духа. В этом суетном и мятежном мире, а в особенности на поприще писателя, человек обязан взвесить и точно знать свои

силы, главным образом силу сопротивления, прежде чем выйти на арену».

И как бы в подтверждение правильности своего взгляда Байрон на весь мир разразился таким громким, веселым и неудержимым смехом, что все его литературные враги и политические тайные недруги надолго замолчали, изыскивая новые тактические приемы. В Италии была напечатана поэма Байрона «Видение Суда». Поэма была напечатана в журнале «Освободитель». Этот журнал был основан в Италии Байроном, который специально для руководства этим журналом вызвал из Англии Ли Гента, брата публициста. При чтении этой поэмы старый Гете не мог справиться с собой и, нарушив олимпийское спокойствие, забыв титул тайного советника, схватив платок, несколько часов смеялся до слез, читая и перечитывая этот совершенно изумительный образец веселой и беспощадной сатиры, где каждая строчка ослепляюще меткой насмешки представляет собой образец исключительно блестящей, легкой и певучей поэзии.

В этом произведении Байрон ответил Роберту Соути, писавшему о том, что «Байрон — *глава сатанинской школы*, враг религии и нравственности», ответил он и тем, кто рисовал его как человека, ищущего примирения с принцем-регентом, и дал яркую сатиру на третьего представителя Ганноверского дома, Георга III, олицетворявшего собой режим, перешедший из консервативного в чисто реакционный.

Соути, не довольствуясь королевской пенсией и житейскими благами, которые сыпались на него как на автора казенной рекламы, написал посвященную покойному королю поэму-оду под названием «Видение Суда». Вопреки мнению историков литературы, считавших Соути «крупным поэтом и джентльменом», критика даже самых пристрастных английских историков и та считает эту поэму Соути жалким и бездарным подхалимством, в котором глупые похвалы Георгу III сочетаются руганью по адресу живых и мертвых защитников свободы. Среди затронутых людей Соути не побоялся привести Байрона, выставив его как образчик наглого нечестия, как призыв к мятежам, как носителя сатанизма. Отвечая на все это, Байрон дал свою поэму за подписью «Quevedo Redivivus», имея в виду как бы заново воскресшего испанца XVII века, Кеведо Виллегаса, автора книжки «Призраки и видения», где политическая сатира облечена в форму фантастических видений. И предисловие и текст написаны тоном чрезвычайной веселости, а легкость стиха, казавшаяся небывалой, сама по себе была оружием, против которого не мог устоять никакой соперник Байрона.

Не менее убийственным было и содержание поэмы, где в шутливой форме изображалось царство небесное, куда, при содействии Соути, пытается проникнуть недавно умерший король Георг III, выдавая себя за благочестивого христианина. Дело кончается тем, что апостол Петр, которому надоело слушать поэму Соути, восхваляющую короля Георга III, со всего размаха ударил назойливого поэта ключом от огромных райских дверей. Соути валится с небес, ибо таков закон, что гнилое

Стремится вверх, равно как вещество
С ничтожным весом: пробка иль иное…

А тем временем, воспользовавшись небесной суматохой, подсудимый Георг III тихонько прошмыгнул в небо, занял в раю скромненькое место и для того, чтобы все о нем позабыли, во всю глотку вместе с другими затянул сотый псалом.

Ясно, что такая поэма меньше всего могла примирить Байрона с Георгом IV и лондонскими ханжами.

Возвышенная ненависть

Насколько тесно Байрон был связан с действительностью, насколько сильно он реагировал на общественные движения того времени, мы видим из его переписки и из того резкого изменения направления поэтического творчества в сторону сатиры и той *возвышенной ненависти*, которую Гете считал прекрасной и благородной чертой байроновского творчества.

Этой возвышенной ненавистью проникнуты и строки «Дон Жуана», и «Бронзовый век», и «Ирландская аватара», и политические эпиграммы. Произведения итальянского периода этого поэта-романтика так насыщены политикой, как ни у одного из публицистов — его современников. Эту сторону байроновского творчества мы особенно подчеркиваем в противовес продолжающему еще господствовать вульгарному мнению, что Байрон только лирический поэт, певец мировой скорби и отвлеченных суб'ективных переживаний, прожигатель жизни, растратчик большого наследства и т. д.

«Ирландская аватара» была напечатана в двадцати экземплярах и во всех отношениях была нелегальным изданием. Эта сатира была написана 16 сентября 1821 года. Она выражает собой негодование Байрона по поводу тех встреч, какие в Ирландии оказывались путешествующему Георгу IV. Строчки большого гневного чувства по адресу тех ирландцев, которые своим раболепством предают страну, чередуются с выражением глубокого презрения к самому Георгу IV.

Вот несколько строф:

XV

Если ж мните свободу себе возвратить,
То «извергните идола с глиняных ног!
Неужели возможно хоть миг допустить,
Чтобы волк сам добычу отдать свою мог?

XX

Так готовьте ж Вителию царственный пир,
Чтоб прожорливый деспот по горло был сыт,

Чтобы хор его пьяниц вопил» а весь мир,
Что Четвертый дурак из Георгов царит!

XXI

Пусть же гнутся со стоном столы под ярмом
Разных яств, как под игом печали народ!
Пусть трон старого пьяницы залит вином,
Пусть вино, как Ирландии кровь, потечет!

1 апреля 1823 года без имени автора появилась поэма «Бронзовый век». Байрон писал Ли Генту: «Я послал госпоже Шелли для переписки стихотворение — строк семьсот пятьдесят. Оно предназначено для той части многомиллионного населения земли, которая умеет читать. Оно все состоит из политики и обзора наших Дней».

Редко политическая сатира достигала такой необычайной поэтической силы, еще реже характеристика эпохи выражалась в столь блестящих, отточенных и страстных формулировках, образная сила которых свидетельствует о том, что Байрон глубоко сознательно относился к действительности и умел дать гармоническое сочетание «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Если итальянское движение было сравнительно легко ликвидировано австрийскими войсками, to испанская революция продолжалась и превратилась в настоящую гражданскую войну. Мало того, это Движение носило такой характер, что самое его наличие беспокоило европейских монархов, как очаг, далеко разбрасывающий искры. После конгресса в Вене, после конгрессов в Троппау и в Лайбахе монархи собрались 22 октября 1822 года на территории Италии в городе Вероне. Основной темой третьего конгресса был вопрос о ликвидации революционного движения в Испании.

Еще задолго до с'езда в Вероне секретная дипломатия трех стран (России, Австрии и Пруссии) решила оказать давление на Францию и принудить ее послать свои войска для подавления испанской революции. Шатобриан страстно желал французского вторжения в испанские дела. Министр Людовика XVIII Виллен предписал французским уполномоченным на конгрессе держаться выжидательной тактики и во всяком случае не ввязываться в дорого стоящее военное предприятие. Несмотря на это,

представитель Франции, известный писатель реакционного лагеря Шатобриан, ловко разыграл из себя человека, вынужденного обстоятельствами итти навстречу русскому царю и австрийскому канцлеру. Позиция Англии была чрезвычайно красноречива: Веллингтон умыл руки и не сказал ни да, ни нет, но дальнейшее поведение Англии обнаружило полное ее сочувствие планам интервентов, когда в марте 1823 года, после ультимативных требований о восстановлении монархии в Испании, за Пиренеи двинулись французские войска.

Вот этому-то периоду европейской истории и посвящена поэма Байрона «Бронзовый век», или «Юбилейная песнь».

Самое понятие века берется Байроном условно. Когда-то беотийский крестьянин Гесиод в полулегендарные времена древней Греции создал поэму «Труды и дни». В этой поэме он впервые дал литературное отражение старинного представления о возрастах мира. Для Гесиода, измученного непосильными трудами на скудной и каменистой почве Беотии, как и для всей массы греческого населения, золотой век был в далеком прошлом; в будущем, по его мнению, человека ожидают все худшие и худшие времена. Был век золотой, его сменил серебряный век, за веком серебряным пришел бронзовый и, наконец, настанет век железный. Эта своеобразная пессимистическая философия истории говорила о том, что эпоха счастья земли — «золотой век» — миновала, и чем дальше, тем сильнее будут сгущаться сумерки мира, пока не наступит наконец ночь для умирающей вселенной. Вот откуда название «Бронзовый век».

Но Байрон *не был пессимистом*. Констатируя в своей поэме падение революционной волны, он всем существом отстаивает прочность революционных идеалов. Именно эта уверенность и позволяет ему произнести суровый приговор тому периоду европейской истории, который «бронзировал» *золотые* надежды революции. В мае 1821 года в глубокой лощине острова св. Елены был похоронен Наполеон. Отсюда эпиграф к «Бронзовому веку» — «Impar congressus Achilli». Эта латинская фраза означает: «Стадное сборище все-таки не равняется даже одному Ахиллу». Байрон спрашивает:

Кто ныне призван в судьи дел чужих?
Святой Союз, замкнувший все — в троих!
Но этой тройке нужд небесный лик,
Так гений с обезьяной не двойник.
Святой Союз, в котором здесь сложен
Из трех ослов один Наполеон.

В Египте боги лучше! Там быки,
Там псы и смирны и кротки,
На псарнях, в стойлах знают угол свой,
Там ждет их пойло или корм дневной.
Скотам в коронах мало корм жевать,
Они хотят кусаться и бодать.

Политическая сатира Байрона бьет по всем главным участникам веронской дипломатической буффонады. Надо обладать высшей степенью интеллектуального развития, чтобы так тонко и умно понимать смысл каждого мелкого явления и превратить публицистическое содержание памфлета в гениальное поэтическое произведение. Но дело здесь, конечно, не только в силе байроновского интеллекта, а в горячей страстности его темперамента, в эмоциональном могуществе борца, умеющего до конца любить и ненави деть.

Английский парламент 1823 года состоял главным образом из аграриев. Крупнейшие земельные собственники Англии считали себя опорой государства, а хлебные пошлины — единственным средством поддержать эту опору. Строки, посвященные в «Бронзовом веке» Англии, распевались на тысячу ладов на родине Байрона.

Родимый край! Оплачет ли мой стих
Твоих лэндлордов, пасынков твоих,
Благословлявших грозный гул войны,
Клянущих бремя мирной тишины?
Зачем они рождаются на свет?
Чтоб выбирать в палату иль совет?
Охотиться? Иль ждать под'ема цен
На хлеб?.. Но хлеб, как все, что — прах и тлен,
Цари, вожди, иная ль мощь и власть,
В своей цене не может не упасть.
…
Где прежний труд, посев из года в год?
Десятки миль возделанных болот?
Где спрос на землю? Прежний дружный пир?
Доход сугубый? Что за чортов мир!
Теперь бесцельно премии сулить;
Бесцельно билль в палате проводить
К *народной пользе* — (лучше, мнится мне
Народ совсем оставить в стороне) —
Она не там, где слышен скорбный крик.
Как бы достаток к бедным не проник.

Повысьте курс! Утройте же доход!
Иль министерство тотчас же падет, —
Патриотизм, столь чутко-подвижной.
Сейчас убавит в весе хлебец свой!

Заканчивая свое обращение к лордам, Байрон пишет:

Их счастье, свет, их вера, цель забот,
Их жизнь и смерть — *доход, доход, доход*!

Понимание отрицательных сторон политической действительности не делало, однако, Байрона определенным сторонником какой-либо политической программы. Скорее мы можем наблюдать на общем скептическом фоне его отношения к политике первой четверти XIX века смешанные стремления протеста, причем его протест против жесткого поступательного движения капиталистического века зачастую принимает у Байрона бессознательную реакционную, форму, когда он выражает сожаление о ликвидации прежних мнимо благополучных общественных форм. Байрона интересовало проявление крупного характера в человеке в процессе борьбы больше, чем конечная цель революционно-политического движения. Но эти недочеты нисколько не умаляют степени политического развития Байрона. В иные моменты он прекрасно ' разбирался в явлениях общественной жизни, и если он не мог предугадать огромного значения машины, раскрепощающей человеческий труд в бесклассовом коммунистическом обществе, то зато он один из первых сурово осудил карбонарское движение за отсутствие живой и органической связи с интересами всей трудящейся Италии. 24 января 1821 года Байрон пишет в своем дневнике: «Недостаточно заинтересована народная масса, а только высший и средний класс. А я хотел бы вовлечь в движение *крестьянство* — эту чудесную первобытную силу двуногих леопардов. Но велики противоречия. В то время как жители Романьи не мыслят восстания без крестьян, болонцы не хотят иметь с ними дела».

Образцом политической чуткости кажутся нам те строфы Байрона, которые касаются положения дел в Греции. Постепенное падение политического значения Оттоманской империи (Турции) поставило непосредственно после Венского конгресса перед глазами европейских монархов заманчивую перспективу добить Турцию и переделить Балканы. Эта хищническая дипломатия,

главным образом, была дипломатией царизма. Александр I изыскивал способ, каким можно было бы добыть новые барыши для дворянской и купеческой торговли хлебом. Пожива на берегах Черного моря, свободное пользование проливами для русских судов без конкуренции европейских предпринимателей — все это было настолько заманчиво для Александра I, что он не боялся циничного противоречия своей политики, когда, с одной стороны, высказывался за подавление национального движения итальянцев против Австрии, с другой, — склонен был использовать и провокационно подогреть слабое греческое национальное движение против турецкого владычества. Французское правительство рассматривало греческое движение как бунт против законного государя. Но как бы то ни было, в тот момент, когда европейским правительствам почудился запах мертвечины на Балканах, они облекли дипломатическую кон'юнктуру своих кабинетов наименованием «восточный вопрос».

И вот Байрон посвящает Александру I замечательные строки:

Царь Александр! вот щеголь, властелин,
Войны и вальсов верный Паладин.
Его влекут толпы подкупной крик,
Военный кивер и любовниц лик.
Умом казак, с калмыцкой красотой,
Великодушный, только не зимой, —
В тепле он мягок — полу либерал.
Он жесток, если в зимний вихрь попал!
Да, он не прочь свободу уважать
Там, где нужно мир освобождать.
Как он красно о мире говорит,
Как он «по царски» Греции сулит
Свободу, если греческий народ
Готов принять его державный гнет.
И Греция в свой трудный час поймет,
Что лучше враг, чем друг, который лжет.
Пусть так: *лишь греки — Греции своей*
Должны вернуть свободу прежних дней,
Но варвар в маске мира — царь рабов —
Не может снять с народов гнет оков!

«Дон Жуан»

Сам Байрон не знал, во что может вылиться поэма, начатая им в Венеции в 1818 году. Он то называет свое произведение «бессвязными стихами импровизатора», то «эпической сатирой». Гете считал «Дон Жуана» Байрона величайшим произведением века. Прерываемая другими темами, останавливаемая зачастую житейскими вторжениями, недописанная поэма имеет по существу все признаки внутренне законченного произведения. Октавы семнадцатой песни не входили в первоначальные издания и впервые стали известны только в 1903 году, равно как и посвящение Бобу Соути в виде начальной строфы стало известно только с 1833 года. Байрон решил пожертвовать им вовсе не по мотивам политической боязни, а потому, что требовал анонимного печатания поэмы и потому не желал, как он выразился, «нападать на эту собаку в темноте». «Так как поэма выходит без моего имени, — пишет он Меррею, — то посвящение надо выбросить, анонимно нападать могут только негодяи и ренегаты вроде Соути».

Сюжетную канву «Дон Жуана» Байрон намеренно не выдумывал. Он просто решил втиснуть в пределы старинных повестей об испанском обольстителе Дон Жуане все черты своего века. Имеются сведения, что Байрон до конца хотел быть последовательным в соблюдении старинной фабулы. Повидимому, Дон Жуан после всех своих скитаний должен был попасть в Англию, а затем закончить дни свои на родине, в Испании. Байрон успел лишь привести своего героя на берега Соединенного королевства, и здесь закончился его путь, ибо закончился жизненный путь и самого Байрона.

Расцвет легенд и повестей о Дон Жуане относится к XVII веку в Испании. В это же время и в других странах появляются повести и пьесы о легкомысленном, ненасытном, но пленительном кавалере, который проводит жизнь в скитаниях по свету, ища всюду наслаждений, попирая законы божеские и человеческие. Старинная испанская литература заканчивала «эти повести о „Севильском обольстителе“» отправкой Дон Жуана в католический ад, а уже в середине XIX века мы видим, что этот ад превращается в страшную внутреннюю опустошенность человека новой Европы, иссушившего все живые и творческие истоки жизни на огне себялюбивых страстей: так заканчивается история испанского дворянина Дон Жуана в повести Проспера Мериме «Души чистилища», вышедшей в 1834 году.

Было бы совершенно напрасной задачей искать литературные

заимствования Байрона, ибо «Дон Жуан» совершенно не является ни подражанием, ни историко-литературной сводкой популярного материала, касающегося приключений пленительного испанца. Сбрасывая покров ложной скромности, Байрон писал своему издателю: «О проклятых цензурных урезках и сокращениях я не хочу и слышать. Единственную „урезку“ я допускаю — это урезку имени автора. Издавайте поэму анонимно: это для вас будет лучшим исходом. Вы требуете современной эпопеи, — так вот вам „Дон Жуан“. Это такая же дивная эпопея для нашего времени, как „Илиада“ для времени Гомера».

Байрон, повидимому, во всей полноте сознавал свою политическую и общественную задачу, когда начал «Дон Жуана», потому что продолжать поэму при той силе сопротивления, какая была ей оказана, можно было только при исключительной приверженности к своему замыслу. Первые две песни вызвали ожесточенные нападки на Байрона, а последующая работа чрезвычайно осложнялась вмешательством молодой женщины, слишком молодой и возрастом, и умом, и сердцем, чтобы понять значение этой поэмы. Терезу Гвиччиоли работа над «Дон Жуаном» пугала, как нечто такое, что может повредить любимому человеку. Вполне понятно, что горячие и сухие искры байроновской сатиры не только зажигали человеческую мысль, но и пугали ее. И если, несмотря на это очень сильное сопротивление, Байрон неустанно работал над поэмой, то, очевидно, он считал это произведение основным делом своей жизни. Недаром вокруг этого произведения возникло сразу столько волнений.

Именно «Дон Жуан» показал Байрона во весь рост и друзьям и врагам поэта, именно эта вещь была вменена ему как преступление всей реакционной Европой. Там, где австрийский шпион и плохой историк литературы видели «сумасшедшие чудачества распущенного лорда», там, где наложные содержательницы европейских салонов, старые пиэтистки и охранители буржуазной морали искали признаков сатанизма, вдруг во весь рост встал человек, вооруженный оружием сатирического смеха. Вполне понятно, что враги шарахнулись в сторону, когда под плащом романтика они увидели реалистического писателя, который на все их сентиментальные и клеветнические выкрики ответил улыбкой сардонического гения. Сам Дон Жуан, условный герой, в котором пытались найти черты Байрона, оказался не только не похожим на Байрона, но даже вообще не похожим на романтического героя, лирическая фигура которого вызывает к себе симпатии и заинтересовывает своей личной судьбой. Дон Жуан — это в высшей степени

обыкновенный человек. Автор проводит его через жизнь, нагружая встречами, приключениями, успехами только для того, чтобы показать жизнь, как она есть, чтобы дать оценку стремлениям и достижениям заурядного удачливого человека XIX столетия.

Анализировать характер самого Дон Жуана в условиях байроновской поэмы невозможно, так как это лишь условная формула, масштаб для измерения сложнейших отношений действительности.

Пылкая любовная связь с Юлией, кораблекрушение, блестящие строфы, посвященные острову, где происходит встреча с дочерью пирата Гайде. Возвращение к любимому колориту Востока, совершенно по-новому звучащие перепевы из «Путешествия Чайльд Гарольда», рабство Дон Жуана, проданного в султанский гарем, наконец миролюбивое и проникнутое симпатией описание Турции, совсем не предвещающее необходимости для автора «Дон Жуана» выступить во главе полка сулиотов против турок. Седая комическая фигура Суворова, по приказанию которого Дон Жуан мчится в Петербург, блестящие строчки, посвященные варварской деспотии Восточной Европы, и наконец пребывание Дон Жуана в Англии, в обетованной стране колониального грабежа, узаконенного пиратства, в стране богатых олигархов, фальшивых браков, лицемерной добродетели, бесконечного ханжества, в стране, где одновременно существуют и богатейшие дворцы и развалленные хижины рабочих, — вот главнейшие этапы Дон Жуана.

То обстоятельство, что Байрон без всякой пощады снимал покровы с настоящих побуждений европейского реакционного «человечества», было главным поводом для обвинения Байрона в безнравственности, а собственная большая и выстраданная мораль Байрона, столь непохожая на мораль христианской награды за хорошее поведение и столь напоминающая гимны Руссо естественному человеческому характеру, была просто игнорирована современной Байрону европейской критикой.

Все дело в том, что Байрон нисколько не морализирует, он не обличает. Ему были отвратительны нудные и скучные литературные формы каких бы то ни было современных «гениев», случайно попавших в роль учителей человечества. Виктор Кузен во Франции и школа «назидательных романистов» с Шатобрианом во главе, литература панегирика и сервилизма в Англии с коронным поэтом Соути во главе и наш российский «Соути» — Василий Андреевич Жуковский — все они, не зная друг друга, соединились в едином чувстве ужаса перед Байроном. Царский цензор указывал на вредное влияние произведений

Байрона, проникающих в Россию. Он писал: «Безбожное влияние байроновского разума, изуродованного свободомыслием, оставляющее неизгладимый след в умах молодежи, не может быть терпимо правительством». Это было написано при появлении первых сведений о «Дои Жуане» в благонамеренных российских журналах. Тот же цензор писал о Байроне, вычеркивая эти информации: «Никакой нет пользы от того сообщения, что в Англии либо в Австралии появился писатель, поощряющий революционные выступления Зандов и Лувелей»{Занд убил русского шпиона Коцебу. Лувель убил наследного принца французского короля, герцога Беррийского.}. И в тон этому цензору Жуковский пишет Пушкину по поводу его увлечения Байроном: «Наши отроки познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии, мыслями. Ты уже многим нанес вред неисцелимый, — это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто, главное величие *нравственное*».

Вот на это величие «нравственное» обрушился Байрон как на маскировку лжи и насилия человека над человеком. Впервые в поэтической форме в лице автора «Дон Жуана» высказался человек против сентиментального идеализма в защиту естественных, простых и сильных чувств, не впадая при этом в меланхолическую чувствительность Руссо и ядовито осмеивая тех, кто фальшивой расстановкой слов и понятий заслоняет реальные мотивы человеческих действий.

Искренние и неискренние побуждения, сознательная ложь и самообман, вся относительность качественной оценки внутренней жизни человека проходят перед нами с первых до последних страниц «Дон Жуана». Одной из героинь двадцать три года, она почти бессознательно влюбляется в Дон Жуана, будучи в то же время довольной своим пятидесятилетним супругом. Ей гораздо больше удовольствия доставило бы разделение одного пятидесятилетнего на двух двадцатипятилетних с правом держать обоих при себе. Но ей чуждо лицемерие, она начинает серьезно увлекаться Жуаном. Внезапно влюбленных застает супруг. Возникают новые свойства молодой Юлии: она так умело лжет, она обманывает старого мужа с ловкостью, которая буквально оскорбляет Дон Жуана, он подозревает прирожденную лживость своей любовницы. Но не судите ее преждевременно. Она пишет прощальное письмо Дон Жуану, после прочтения которого читатель стыдится своего поспешного заключения об этой женщине. Ее письмо доказывает всю возвышенность ее сожаления о том, что пришлось прибегнуть к столь низкому средству. Слезы на глазах. Дон Жуана могут вызвать слезы на глазах читателя, но когда Дон Жуан читает это письмо, стоя на борту корабля,

подкрадывается морская болезнь, герой испытывает тошноту. Письмо улетает в море, выпав из рук Дон Жуана, наклонившегося через борт. Усиливается буря. Кораблекрушение. На обломках корабля, на лодке истощенные матросы с'едают последние остатки пищи и голодными глазами смотрят на уцелевших пассажиров. Решают кинуть жребий — кого первого надо убить и с'есть. Для жеребьевки рвут на куски и номеруют оставшиеся странички письма Юлии. Представители «нравственного» человечества на строчках любви ставят номер будущего смертника. Матрос Педрилло вынимает этот номер, цифра смерти поставлена на самой нежной строчке письма. Есть еще место под небом, где рядом с тихой мечтой любви можно встретить выражение ужаса в остекляневших глазах человека, превращаемого в пищу своих товарищей? Есть ли такое место во вселенной? Байрон отвечает за своего героя: «Да, есть такое место. Это наша старая знакомая земля».

Вторая героиня Байрона — это Гайде. На этот раз это женщина положительного типа. Тем-то и замечательно это произведение, что в нем наряду с едким и желчным смехом мы видим спокойную внимательность взгляда Байрона при встрече с полноценными явлениями жизни. Байрон не отрицает их существования и деятельно их разыскивает.

Но разве существует мир правильно устроенный, в котором дважды два равняется четырем, живой мир, в котором самые низменные и наиболее возмутительные страсти могут каждую минуту дать знать о себе? Мир, в котором проявление красоты и человечности жизни встречаются то в виде минутного проблеска, то волной света, то многодневного сияния, то солнца многих лет? «Да, — отвечает Байрон, — такой мир существует».

И вновь ведет читателя с невольнического рынка на поле сражения, где солдаты поднимают детей на Штыки. Описывает рабство и барабанный бой, войну и альковные дела, и лицемерные покровы этих дел, для того, чтобы внезапно прорезать воздух звуками революционной боевой трубы. Снова строчки о великой революции. Вот описание Англии, сделанное пером материалиста. Байрон пишет: «Одни толкуют о возвышенных страстях, другие о призыве чувств, третьи обращаются к лозунгам рассудка, но ни одна жалоба не действует так сильно, ни одна военная труба не вызывала такого поспешного ответа, ничто не пробуждает такие благородные чувства в Англии, ничто не действует так умиротворяюще — как укрощающий страсти и прекращающий ссоры могучий звук обеденного колокола».

Байрон говорит о себе: «Чем больше я страдаю от болезней,

тем более я становлюсь ортодоксальным. *Первый* удар заставил меня поверить в господа бога. Я, впрочем, всегда в него верил, равно как и в чорта. *Второй — в* непорочное зачатие святой девы. *Третий* — в происхождение зла. А *четвертый* удар неопровержимо убедил меня в существовании святой троицы. Одного мне только недостает, чтобы я уверовал окончательно, одного я пламенно желаю, чтобы троица состояла из четырех лиц».

Происхождение зла и добра и социальная значимость этих понятий в разные эпохи берется под обстрел байроновской сатиры, главным образом путем приведения к нелепости основных истин религии и социальной морали XIX столетия. Байрон пишет: «Нравственное падение райского воробья, который тоже обречен на земные страдания, это, конечно, дело рук господа бога. Что касается преступления этого воробья, то библия ничего не сообщает на этот счет. Но я-то имею основание предполагать, что и воробей был с позором выгнан из рая за то, что осмелился посидеть на том дереве, которое столь любовно обшаривала госпожа Ева».

Меррей перепугался насмерть, прочтя это, и отказался издавать «Дон Жуана». Байрон обратился к комиссионеру, который был поставлен в такое положение, что издание принесло ему убыток. Байрону предложили еще до выпуска «Дон Жуана» смягчить такие места, как суждение автора: «Гораздо почетнее осушить одну единственную слезу, чем пролить море крови». И далее, то место, где английская королева Елизавета именуется полуцеломудренной королевой. Вычеркивали также и противопоставления: «Дети Ирландии тают от голода, а Георг английский весит уже четырнадцать пудов».

«О, Ульберфорс! — восклицает Байрон, — ты благороднейший человек, стремящийся освободить негров от рабства! Тебе остается маленькое дело — в один прекрасный день привести в порядок и другую половину человечества. Ты *освободил негров, а теперь с помощью Англии обрати в негров все белое население Европы.* Обрати всех нас в рабов российского хвастуна Александра I и отправь всех трех коронованных людей Священного союза в Сенегал с поучением, что соус, пригодный для одного гуся, годится и для многих гусей, и пусть бич плантатора щелкает по спинам королей, ибо самая загнанная лошадь бьет задом, когда упряжь в'едается в тело, а трудящемуся человечеству надоест в конце-концов играть в терпение библейского Иова. *Одна революция способна очистить землю от ада. Не знаю, кто в ней победит, но даже без этого знания я бегу в первые ряды.* Грядущие поколения с трудом будут верить

историкам, повествующим о королях нашего времени. Они удивятся так же, как удивляемся мы, видя остатки мамонта. Подумайте, что станется с людьми, если им показать вырытого из земли нашего Георга IV. Потомки с трудом поверят, что такое чудовище могло существовать. Но мне-то это все равно, я пою — боже, храни короля и королеву, ибо уж если ты, господи, перестанешь их охранять, то кто же это сделает, — сомневаюсь, чтобы люди! Чудится мне, слышится мне, чирикает маленькая птичка и поет о том, что простой народ становится все сильнее и сильнее!»

Эти революционные строки принадлежат человеку, вышедшему из среды самой старинной, самой надменной и жестокой аристократии в мире.

Черты законченного аристократизма в манерах и в самой форме протеста остались в Байроне навсегда, и если в порыве гнева он громил репутацию европейских королей и принцип деспотии в Европе, то наряду с этим лорд-карбонарий часто переживал душевное состояние, роднившее его протест с независимостью своенравного феодала. Байрон страдал этой раздвоенностью чувств, неизбежной для людей его круга, входивших под тяжелые своды капиталистического века, после того как своды их собственных замков стали пропускать дожди и ветер европейской реакционной погоды.

Гибель бунтующего идеализма

Жизнь Байрона в Равенне неожиданно омрачилась странным событием. Дом Байрона, превращенный в арсенал восстаний, был расположен в узкой улице, замыкавшейся поворотом и часовней св. Виталия, и не привлекал ничьего особого внимания. Узкие и тесные улицы в глухой и пустынной части спокойного города не требовали никакой специальной охраны, но именно здесь неожиданно по ночам стали появляться пикеты карабинеров и жандармов. Однажды ночью на выстрелы не только никто не пришел, но вся улица казалась вымершей. Байрон еще не спал. Он вместе с венецианским гондольером Тита вышел, зажегши факел, и едва не упал, так как порог был загорожен телом окровавленного человека. Байрон и венецианец перенесли раненого в верхний этаж дома, где ему была оказана первая помощь. Помощь бесполезная, а быть может даже опасная, так как карабинеры и австрийские жандармы, убиваемые по ночам, никогда не пользовались помощью населения: их убирали обычно свои же люди. Несмотря на то, что Байрон принял все меры к немедленному оповещению властей, ему не удалось спастись от подозрений, и, не обвиняя Байрона открыто, равеннские церковные власти и жандармерия шептали при всяком удобном случае, что комендант погиб от руки безбожного лорда.

В письме из Равенны от 1 июля 1820 года к Томасу Муру Байрон писал по поводу старика Гвиччиоли: «Все родные Терезы в бешенстве от его поведения. Отец Терезы-вызвал его на дуэль — напрасная храбрость, старый Гвиччиоли не дерется в честном бою, хотя его подозревают в двух убийствах; одно из них — это убийство знаменитого Манцона да Форли. Я получил предостережение, мне советуют быть осторожным, особенно в моих поездках в Равеннскую Пинету, поэтому я всегда беру с собой стилет и пару пистолетов, отправляясь туда».

Таким образом Равенна становилась явно негостеприимной. Развод состоялся только осенью 1821 года. Консисторское уведомление Терезе Гамба о том, что ее брак с графом Гвиччиоли расторгнут, сопровождалось прежде всего приказанием жить под одним кровом с отцом; во вторых — отцу Гамба было велено выехать из города Равенны вместе со всей семьей, так как местный кардинал-легат не находит возможным разрешить пребывание семьи Гамба в местности, неблагополучной по карбонаризму; в третьих — Байрон получил предложение покинуть Равенну в такой форме, которая не позволяла ему ни жаловаться, ни сопротивляться. Всякая попытка остаться в

Равенне вместе с Терезой Гамба была заранее обречена на неуспех, так как в случае, если бы Тереза не поехала с отцом и братом, она подлежала бы немедленному принудительному заточению в монастырь. Ловкий ход церковных властей одним Ударом достигал всех целей. В сентябре 1821 года Байрон писал Томасу Муру: «Я укладываю вещи по случаю от'езда в Пизу. Причина этого — высылка всех моих друзей-карбонариев, и в том числе семьи госпожи Гамба. Она, как вы знаете, развелась с мужем всего лишь на прошлой неделе и по закону должна следовать за высылаемым отцом, иначе ее заточат в монастырь. Я не расположен сказать словами Гамлета к Офелии — „иди в монастырь“; — я еду за ними».

Однако выезд Байрона едва ли не был отсрочен из-за неожиданного вмешательства рыбаков, окрестных крестьян, ремесленников и горожан Равенны. Они вереницей потянулись к кардиналу-легату с просьбой оставить Байрона в Равенне. Кардинал оказался неумолимым и вместо того, чтобы оставить Байрона в городе, сделал запрос о возможности отправить его в тюрьму. Этот план оказался неосуществимым, пришлось удовлетвориться от'ездом члена английской законодательной палаты, формально неприкосновенного пэра Англии, в другой город.

Неудача неаполитанского восстания произвела потрясающее впечатление на Байрона. Об этом говорит и тон писем Байрона и начавшееся метание его по стране. Вот три письма, посланные из Равенны: одно Ходжсону и два, английскому консулу в Венеции.

Фрэнсису Ходжсону.

Равенна, 12 мая 1821 года

…За последнее время я больше занимался политикой, чем другими делами; неаполитанская измена и отпадение разрушили все наши надежды и приготовления. Вся страна была наготове. Конечно, я бы не остался спокойно сидеть со сложенными руками. На самом деле они были заняты (т. е. руки). Я не могу об'ясниться подробнее по понятным причинам, так как все письма вскрываются. Когда-нибудь мы поговорим об этом и о других вещах. Пока скажу: немного недоставало для того, чтобы я кончил, как Лара…

Ричарду Бельгрев Гоппнеру.

Равенна, 25 мая 1821 года.

…Вы знаете, что они составили список лиц, враждебно относящихся к ним в Италии; полагаю, он достаточно обширен. Их подозрения и страхи по поводу моего поведения и

приписываемых мне в последнем восстании намерений положительно смешны; не желая вам наскучить, я писал об этом лишь между прочим. Они думали, до сих пор думают или делают вид, что думают, что весь план и проект восстания был разработан мною, что мною были предоставлены средства и т. д. Все это, конечно, выдумано агентами варваров, которых здесь очень много; один из них вчера получил удар кинжалом, но не опасный; все же, когда в прошлом году коменданта подстрелили у моих дверей, я взял его к себе в дом, где ему была оказана всяческая помощь, пока, он не умер на постели Флетчера, и хотя никто из них не решился принять его в свой дом, кроме меня, и он был оставлен на гибель ночью среди улицы, они три месяца назад напечатали прокламацию, в которой об — явили меня «главой либералов» и подстрекали людей, чтобы убить меня. Но силой они не заставят меня молчать и скрывать свои убеждения. Во всем этом виноваты немецкие варвары.

Ричарду Бельгрев Гоппнеру.

Равенна, 23 июля 1821 года.

Страна находится в состоянии проскрипций, и все мои друзья изгнаны или арестованы. Семья Гамба вынуждена переехать во Флоренцию, отец и сын по политическим причинам, а Гвиччиоли под угрозой монастыря, ввиду отсутствия отца. Поэтому я решил перебраться в Швейцарию, и они тоже. Говорят, что моя жизнь здесь всегда в безопасности, но это продолжается уже около года, а потому не играет первостепенной роли.

Вы не можете себе представить, в каком приниженном положении находится страна, — они арестовали около тысячи граждан высокого и низкого происхождения по всей Романье — некоторых изгнали, других заключили в тюрьмы, без суда и следствия, даже без обвинения. Все говорят, что со мной поступили бы так же, если бы посмели открыто выступить. Я остаюсь здесь именно по той причине, что все мои знакомые без исключения, несколько сот человек, пожалуй, были изгнаны…

После первой высылки из Равенны Байрон прибыл на берега Арно и поселился в пизанском палаццо Ланфранги со всем своим громоздким штатом и инвентарем.

Этот инвентарь ежедневно возрастал. Происходило то же самое, что было в Равенне. Байрон писал 16 февраля 1821 года: «Вчера вечером прислали ко мне человека с мешками штыков, ружей, сотнями патронов. А дней десять тому назад карбонарии просили меня купить оружия для некоторых из наших санкюлотов. Я исполнил это немедленно… Они преспокойно сваливают мне на руки, в мой дом, к тому же без всякого

предупреждения, то самое оружие, каким я снабжаю их по их просьбе, но за мой счет, рискуя головой».

Таким образом в пизанском жилище инвентарь увеличился. Уменьшилась безопасность пребывания Байрона на территории Италии. И это положение не замедлило сказаться, когда весной 1822 года Байрон возвращался с молодым Пьетро Гамба и поэтом Шелли верхом из предместья. Байрон встретил у городских ворот сержанта драгунского полка Мази. Этот австрийский наймит, гарцовавший у ворот довольно долго, как нарочно, именно в эту минуту постарался пустить свою лошадь вскачь и, обгоняя Байрона с его спутниками, прижал ноги Байрона в узком проходе. Байрон сдержался. Австрийский фельдфебель оттиснул крупом его лошадь, и когда Байрон и Шелли закричали, так как лошадь дала свечку, то все выходившие в это время из ворот были задержаны. Неожиданно появился человек, ударивший драгунского сержанта ножом по сапогу. Никто не был ранен, но все слуги Байрона были арестованы, и, несмотря на протесты, был арестован даже Тита — венецианский гондольер, которого обычно историки литературы производят из обыкновенного рядового итальянского карбонария в высшее звание «слуги лорда Байрона». Этот «слуга» так и не вернулся к своему «господину». Оба, и барин и лакей, испытали одинаковую судьбу в 1824 году.

Байрон после пизанского случая с «поножовщиной» в воротах был выселен, ему пришлось уехать в Ливорно. Байрон испытывал утомление от всех этих «случайностей» и переездов. Мысль о том, что все эти происшествия не случайны, не раз приходила в голову Байрону. В январе 1821 года он писал в дневнике: «Вот прочие мелкие неприятности истекшего года — опрокинувшийся экипаж, убийство людей на пороге моего дома и смерть их „в собственных постелях“, а потом внезапные судороги при плавании в море и странные явления после принятия пищи».

В день приезда Байрона в Ливорно в доме Гамба появился новый слуга. По прошествии многих дней ливорнского пребывания этот новый слуга проявил себя в новом качестве. Будучи спокойным и тихим во внутренних помещениях дома, он оказывался чрезвычайно агрессивным по отношению к своим товарищам на площадях и улицах Ливорно. Однажды пе ред окнами Байрона началась ссора между слугами Гамба и слугами Байрона. Вскоре в ход были пущены кинжалы, стилеты и обыкновенные кухонные ножи. Байрон, зная в чем тут дело, сам бросился разнимать дерущихся, но это не помогло. Тогда Байрон выхватил пистолеты и стал стрелять в воздух. Возникло судебное дело, в результате которого Байрон оказался вынужденным выехать за пределы Тосканы. Ему был предоставлен в качестве

последнего убежища в Италии — город Генуя.

Перед этим Байрон испытал сразу две потери. 20 апреля 1822 года умерла его маленькая дочь Аллегра, а 8 июля 1822 года неожиданно погиб его великий друг Шелли: он отправился с денежной шкатулкой в сопровождении английского гражданина Вильямса (Байрон, ранее предполагавший выехать вместе с ними, вопреки приглашениям остался) на своей яхте «Ариель». Яхта исчезла бесследно. Никакого шквала, как любят повторять историка литературы, — не было. Море было безбурное, яхта погибла при совершенно тихой погоде; у этих берегов нет никаких подводных скал. Лишь после десятидневны отчаянных поисков, во время которых Байрон был похож на душевнобольного, он увидел, наконец, на берегу найденные тела. Байрон и Ли Гент предали тело Шелли погребению по старинному обряду — сожжением.

Вилла Коллина Альбаро в Генуе была последним пристанищем Байрона в Италии. Две мили отделяли виллу Байрона от морского берега. Перед ним расстилалось море, поля, виноградники и лес, ибо пространство от Альбаро до Генуи еще не было застроено. Перед домом Байрона проходила большая дорога на Левантийскую Ривьеру, а за церковью Дальбаро на морском заливе виднелся так называемый «Парадиз» — дворец Бонбрини. Там, словно приготовляясь к далекому морскому путешествию, Байрон написал поэму «Остров». В основу этого произведения была положена старинная флотская реляция, описывавшая мятеж на корабле «Бунтии». Сам Байрон указывает на Блея и Маринера как на источники, использованные им. Это было последним большим произведением Байрона.

В начале апреля 1823 года к воротам виллы Альбаро под'ехала коляска, из которой вышел загорелый, черноволосый англичанин, сэр Эдуард Блекьер, и черноглазый человек с оливковым цветом лица, Андрей Муриотис, которые не без пафоса назвали себя «посланниками восставшей Греции». Байрон узнал в лице Блекьера человека, которого он встречал в Венеции. Это дало ему возможность без особого предубеждения принять «посланников», не особенно считаясь с их прошлым. Свидетелей разговора не было, но 29 мая 1823 года Байрон написал Стендалю письмо, в котором он вспоминает «Миланский кружок, говорить а котором нехватает духу, так все переменилось с тех пор: смерть, изгнание, австрийские тюрьмы раз'единили всех, кого мы с вами любили». Письмо заканчивается словами: «В силу некоторых обстоятельств я вынужден буду отправиться в Грецию».

Таким образом Байрон, располагавший значительными денежными средствами, известный уже своими связями с

карбонарским движением в Италии, не имеющий никакой возможности вернуться на север Европы, мечтавший об открытом море, к узкой полоске побережья которого он был прижат изгнанием из всех остальных городов Италии, получил при посредстве ловкого английского агента и сомнительного греческого революционера предложение принять участие в движении, которое пока еще ничем подлинно революционным себя не показало. Известно, что в августе 1822 года Байрон собирался эмигрировать в Южную Америку, но писал Муру, что колеблется в выборе между Америкой и Грецией, куда его усиленно приглашают. Но вот наступает 25 июля 1823 года, и корабль «Геркулес» навсегда увозит Байрона в последнее странствование.

Как случилось, что этот скептически настроенный человек дал себя увлечь и пошел на голос сомнительных греческих патриотов и несомненных шантажистов, — это до сих пор никак не об'яснено историками литературы. Все, почти в унисон, говорят о том, что Байрона привлекли идеалы греческой свободы. Конечно, суб'ективные побуждения Байрона были именно таковы: он со всем сознанием трудности и ответственности, «отдавал жизнь за дело Греции», но биографу Байрона необходимо уяснить, что представляло собой это «дело Греции».

Несомненно существовали революционные об'единения греков, имевшие целью национальное об'единение греческих областей, разобщенных и подавленных иноземной властью. Старинное слово «гетерия» — товарищество, содружество — применялось неоднократно к разнообразным формам конспиративных, греческих союзов XIX века. Они ведут свое начало от первого, возникшего под влиянием Великой французской революции тайного союза Константина Ригаса. Его национально-революционное об'единение именуется «гетерией 1795 года». Но эти окраинные последыши Конвента замерли на греческой территории. Их сменило «Товарищество филомузов» — любителей муз, подобие русских любомудров, польских филоматов, итальянских братьев античного Рима (романтиков). Но очень быстро из самостоятельного союза это греческое тайное общество превратилось в организацию тайную для Турции и явную для петербургского кабинета иностранных дел, который со времени Екатерины II и «греческого проекта» князя Потемкина Таврического не переставал думать о способе прибрать к рукам Балканский полуостров со «славянскими братушками» и «православными грекосами», как называли эти об'екты своих вожделений славянофилы и квасные патриоты Российской империи. Война 1812 года помешала Александру I продолжить

начатую работу «об'единения греков ради освобождения от турецкого ига». Однако граф Иоанн Капо д'Истрия, о котором всегда писали как о греческом государственном деятеле, хотя он и занимал в 1807 году должность полицейского комиссара Ионических островов, а потом был секретарем русского посольства в Вене, внезапно оказался ближайшим участником греческой «войны за освобождение», а в результате, с помощью императора, всероссийского, сделался даже греческим президентом. Правда, он явился лишь после того, как российский императорский флот растрепал турецкие корабли в битве при Наварине, т. е. лишь 18 января 1828 года он «всеподданнейше донес о вступлении в должность президента вверенной ему страны».

Прочие греческие освободители были не лучше. Даже восьмидесятилетний Али-паша, знаменитый по письмам Байрона — Али из Тебелена, владыка Янины, добившийся своей независимости от Турции и начавший первоначально захватывать греческие города, даже этот Али-паша, поссорившись с султаном Махмудом, внезапно помирился с греками и сделался одним из первых вождей греческой гетерии. Нет ничего забавнее и печальнее эпизода турецкой осады янинского замка, когда старый бандит Али-паша в качестве ярого защитника греческой свободы постреливал в турок из ружья, подаренного ему Бонапартом, и провозглашал независимость Греции, а тем временем вождь сулиотов Марко Боцарис, знавший тайные планы Али-паши, продолжал громить гетеристов и снова помирился с султаном. Нет ничего смешнее и печальнее, чем появление ад'ютанта Александра I Ипсиланти в 1820 году в качестве председателя «Гетерии Филикэ» то у румын, где богатые греки и собственные бояре были в тысячу раз хуже турецких чиновников, то у греков, где английские лорды соревновались в грабежах с турками и греческими богачами. Этот истинно-русский грек и истинно-греческий черносотенец превратился в греческого «революционера», мечтающего о королевской короне. 21 марта 1821 года православный архиепископ Герман водрузил так называемое знамя независимости на стенах Калавриты, и когда духовенство Мессалунги, Афин, Морей проделало то же самое, а турки, вознегодовав на поругание Ислама, повесили в Константинополе православного патрарха и восемьдесят три попа, — в Потрассе начались уличные сражения.

Глубокие корни подлинного национального движения заглохли под влиянием того дипломатического бурьяна, который разрастался под ветрами иностранных влияний и приобрел громкое название «освобождения Греции от турецкого ига».

Первоначальная единичная вспышка, организованная при посредстве иностранной агентуры, превратила в ад жизнь двух миролюбивых народов, правящие классы которых охотно пошли на авантюру за счет превращения греческих полей, деревенских улиц и городских площадей в побоище. В Фессалии появился грек Одиссей, которому повезло: он с тысячным отрядом сбил турок Курдиш-паши. Потом с помощью русской дипломатии был состряпан национальный конгресс греков в Эпидавре, который состоялся 1 января 1822 года и провозгласил «независимую Грецию», целиком зависевшую от России. Соседи за столом по конгрессу, Александр I и князь Метерних, в это время многозначительно переглядывались между собою:

— Они молодцы, — сказал русский царь.

— Ваше величество, — скромно потупясь, ответил Метерних, — поддерживать восстание против законного государя, каким является его величество султан турецкий, это значит насаждать революцию в Европе.

Турки разбили генерала Александра Ипсиланти. Он пытался бежать через австрийскую территорию и попал в австрийскую тюрьму. Русский царь его не поддержал, узнав о претензиях Александра Ипсиланти на греческую корону. Но остался Дмитрий Ипсиланти, который с помощью Маврокордато создал совет и сенат из Пятидесяти греков. Ссориться с русским царем не хотели, тем более, что вопрос об ослаблении Турции был вопросом выгодным для многих европейских государств, скрывавших свою заинтересованность, а тут турки внезапно проявили непозволительную живучесть. Они захватили и начисто опустошили греческий остров Хиос. После этого «европейское общественное мнение склонилось в пользу греков». Франция и Англия сочли необходимым «сочувственно вмешаться», чтобы не упустить своего куска при будущем дележе той или иной добычи. В ответ на это султан Махмуд и Махмед Али, пытавшийся разыграть из себя африканского Бонапарта в качестве египетского паши, тайно об'единились для завоевания Греции. Сын Махмеда Али, Ибрагим, адмирал флота, состоявшего из шестидесяти трех военных мониторов и сотни транспортов, отправился в экспедицию, имея на борту шестнадцать тысяч пехоты и восемьсот всадников.

Английский поэт Леондор писал обращение к грекам о том, что они обязаны бросить презренное употребление огнестрельного оружия я перейти к старинному испытанному марафонскому луку, дабы тучами стрел закидать турецкие поля. А полковник Стенгоп спорил с Байроном о том, следует ли соглашаться с поэтом, который требует доставки из Англии шести

четырех-пушечных батарей вместо шести пресвитерианских священников, которых полковник английской службы Стенгоп обязался доставить в Грецию для обращения греков в англиканское вероисповедание. Попав в эту неожиданную и балаганную обстановку, Байрон писал своей сестре из Кефалонии 12 октября 1823 года:

«…Дела у греков в таком положении, что трудно понять, в чем я могу им помочь, если вообще помочь им возможно. Все же у меня есть надежда, что они, наконец, поймут в чем дело и перестанут грызть друг друга, пока не добьются национальной независимости, а там они смогут определить судьбу своих домашних дел и… пусть! Ты видишь, что мне есть о чем задуматься: ты представить себе не можешь, до какой степени это проныры, вероломные и мелочно-суетливые люди, а так как меня стараются завербовать посланцы от всех греческих партий и я обязан действовать без пристрастия, то я восклицаю, как Юлиан на военном учении: „О, Платон, что это за труд для философа!“ Впрочем, ты ни во что ставишь мою философию».

Не успела Тереза Гамба проститься с Байроном на борту «Геркулеса» и уйти, как два грека стали в качестве ад'ютантов справа и слева от Байрона. Они прекрасно говорили по-английски, они вмешались в разговор, их льстивая речь наполняла воздух; эти двое были греческими провокаторами, состоявшими на службе в турецком штабе.

С дороги Байрон писал Муру: «Где же греческий флот? Я не знаю, может быть вы знаете, Мур? Я сказал нашему капитану, что, по моему мнению, два больших корабля на горизонте — это корабли греческого флота. Но он ответил: они слишком крупны. Такие же сомнения по поводу всех встречных и прибрежных судов».

Байрон прибыл в Кефалонию. На островах было неспокойно. Байрон сразу оценил характер авантюры и стал ждать, как он говорил, «подлинно народного движения». Первая прозаическая сторона дела внезапно раскрылась перед Байроном во всей своей отвратительной неприглядности: вожди торговались, клеветали друг на друга, называли друг друга предателями, кричали о суммах, полученных каждым от той или иной иностранной державы.

Александр Блок изумительно перевел строчки Байрона, которые называются «Дневник в Кефалонии»:

Встревожен мертвых сон — могу ли спать?
Тираны давят мир — я ль уступлю?
Созрела жатва — мне ли медлить жать?

На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце…

Эти стихи написаны в виде посвящения Греции. Поэт сравнивает эту страну со змеей, которая его, как птичку-колибри, заворожила глазами. Ощущение смерти и какого-то загробного бытия не покидает Байрона ни на минуту. Казалось, исчезло чувство реального. И однако, принеся себя в жертву, он возвышается над развертывающимся актом борьбы, полным корысти, интриг и личной заинтересованности. Байрон впитывает в себя, как горечь, вражду и распри греческих вождей. Он ждет «могучего и большого народного движения» и до этой поры не соглашается покинуть Кефалонию и поселиться на полуострове.

Лондонский комитет англичан, сочувствующих греческому движению, прислал Байрону мандат на представительство. Байрон жил, как в огне. Под ним горела земля. В декабре 1823 года, когда движение разрослось, Байрон решил высадиться на берег. Маленькое суденышко, на котором плыл Байрон, благополучно прошло мимо турецкого монитора. Гавань Драгоместри укрыла это суденышко. Байрон пять дней не раздеваясь провел в ожидании момента безопасной высадки. В эти пять дней сильно надорвалось его здоровье. Наконец появился греческий военный корабль, который должен был провести судно Байрона в безопасное место и там организовать высадку штаба на берег. Но и этого греческие вожаки не сумели сделать как следует. Они показали себя трусливыми воинами и плохими моряками. Благополучно посадив на камни и разбив судно, они предоставили Байрона собственной участи. Байрон бросился вплавь в одежде, держа на плечах греческого ребенка, которого он еще на борту обещал доставить родителям. Так ночью, продрогший и измученный, без еды и без пресной воды, он сидел на берегу и отогревал застывшие ручки ребенка чужого народа, вспоминая о том, как английские власти отняли у него его собственного ребенка и как погибла его вторая дочь.

Байрон высадился в Мессалунгах. Пушечные салюты и оглушительная тамбурмажория встретили его. Его приветствовал Маврокордато с пятитысячным войском. Байрон взял на себя содержание отряда из 500 сулиотов. Началась военная жизнь. Греки умели «блестяще показывать тыл туркам». Давясь от презрения, Байрон учил их стрельбе и верховой езде. Как нарочно подобранные, малокультурные и тупые сулиоты нисколько не напоминали великих сынов Эллады. Отрадное впечатление

производили турецкие пленники. Байрон долго говорил с турецкими офицерами, глаза его оживились; он-видел перед собой «настоящих воинов». Он возвратил им оружие и отправил их к турецкому генералу Юсуф-паше с письмом, написанным в очень теплых и благородных тонах. Он указывал Юсуфу на отвратительные стороны войны и выражал уверенность, что «турки проявят свое обычное благородство». В эти дни Байрон написал свое *последнее* стихотворение. 22 января 1824 года ему исполнилось тридцать шесть лет.

То сердце быть должно б невозмутимым,
Что в грудь других не может чувства влить;
Но если я быть не могу любимым,
Все ж я хочу любить!

Все дни мои, как желтый лист, увяли,
Цветы, плоды исчезли, — и на дне
Моей души гнездится червь печали:
Вот, что осталось мне!

Незримо грудь мне пламя пожирает,
Но то вулкан на острове пустом
И светочей ничьих не зажигает
Оно своим огнем.

Прошла пода надежд, волнений, власти,
Огня любви, — все это в стороне,
И разделить мне не с кем пламя страсти:
Но цепь ее — на мне!

Но пусть меня тревоги не смущают
Подобных дум — теперь, на месте том,
Где лавры гроб героя украшают
Или чело венком.

Вокруг меня — оружие, знамена;
Я в Греции, — мне ль это позабыть?
И на щите боец Лакедемона
Не мог свободней быть.

Восстань! (не ты, Эллада, — ты восстала) —
Восстань мой дух! В минувшем проследи,—
Откуда кровь твоя берет начало,
И в битву выходи!

Уйми в себе всплывающие страсти
И побори: не молод больше ты,
И над тобой должны лишиться власти
Гнев иль улыбка красоты.

И если ты о юности жалеешь,
Зачем беречь напрасно жизнь свою?
Смерть пред тобой — и ты ли не сумеешь
Со славой пасть в бою?

Ищи ж того, что часто поневоле
Находим мы; вокруг себя взгляни,
Найди себе могилу в бранном поле —
И в ней навек, усни!

Затем наступили черные дни. Ссорились не только вожди, но и те интервенты, которые помогали грекам. Лорд Стенгоп хотел основать в Греции школы, которые явились бы местом англофильской пропаганды. Байрон требовал пушек, а лорд Стенгоп привез с собой свору английских попов. Байрон отослал их обратно, заявив, что этим можно только отвратить греческое население.

Мы видим, как постепенно поэт сменяется практичным политиком, как в нем нарастает чувство глубокого горя. Во главе пятидесяти сулиотов, несмотря на плохую погоду, Байрон отправился в экспедицию… Под дождем, промокший насквозь, он забыл переодеться. У него началась лихорадка, судороги и страшнейшие боли. Он слег в полуобморочном состоянии. Он метался в жару, наступил бред, но и действительность «была похожа на кошмар». Сулиоты требовали прибавки жалования. «Рыцари освобождения» огромной оравой, без всякого порядка и дисциплины, ворвались в комнату больного Байрона, галдели, кричали и начали настоящее побоище с бранью и требованием денег. Байрон сделал страшное усилие, поднялся с постели и успокоил их. Они ушли.

19 апреля Байрона не стало. Последняя фраза Байроном была произнесена по-итальянски: «Jo lascio qualche cosa di caro nel mondo» — «Я покидаю в мире нечто дорогое для меня».

Потом повернулся, на мгновение открыл глаза и Громко сказал: «Теперь я засну». Настала смерть.

Поэзия Байрона оказала огромное влияние на литературу

всего мира. Смелая байроновская фантазия, его тонкая проникновенная лирика, чувственный пыл и горькая сатира, нещадно бичевавшая современное ему общество, — все это делало Байрона любимым поэтом миллионов читателей и помогло стать на путь переделки мира не одному поколению молодых людей прошлого. Конечно, большинство его произведений нужно подвергнуть историческому пересмотру. Но нельзя забывать, что бунт его, хотя и оставался бунтом законченного индивидуалиста, заставил трепетать не только загнивающие остатки феодального общества, но и хищников капитализма, превративших человечество в источник личного обогащения. Болотные испарения, обволакивавшие всю реакционную Европу, должны были задушить эту яркую индивидуальность, ибо большая человеческая индивидуальность, которая свободно развернет все силы, способности и стремления своей воли, может вырасти только в бесклассовом обществе, когда социальные и индивидуальные качества человека будут обогащать все силы коллектива.

ПРИМЕЧАНИЯ

Аватара (санскритск.). Перевоплощение я появление богов на земле в человеческом образе. Идея; воплощения богов нашла широкое развитие в буддизме и браминизме.

Альбион. Древнее кельтское название Англии. Теперь употребляется в поэзии, а также в ироническом смысле.

Англо-американская война. Началась в 1775 году, когда английское правительство послало в Америку экспедиционные войска из Англии для усмирения восставших от непосильных налогов и пошлин колонистов Массачузетса. Колонисты сформировали милиционное (состоящее из добровольцев) войско под командой Георга Вашингтона. Освободительное движение, возникшее против колониальной политики Англии, имело успех не только среди местного населения, но и получило широкий отклик в Западной Европе. В рядах американцев сражался французский генерал Лафайетт со своим корпусом, Тадеуш Костюшко, Сен-Симон.

4 июля 1776 года Генеральный конгресс декларировал независимость 13 колоний от метрополии, их свободу от повиновения британской короне, отказ от всякой политической связи с Англией. Были образованы независимые штаты Под общим названием Северных штатов Америки. В 1778 году ими был заключен союз с Францией. Летом 1779 года к Франции присоединились Испания, Голландия, Россия, Дания, Швеция, Австрия и Пруссия.

Английское правительство вступило в переговоры о мире с Францией и Соединенными штатами. Мирные договоры в окончательной форме были подписаны в Версале и Париже в 1783 году.

Верхняя палата. Законодательное собрание, принципиально равноправное с другим законодательным собранием — нижней палатой и образующее с ней единый парламент. Кроме наследственных лордов членами верхней палаты могут быть лица, занимающие высокие должности (архиепископы, епископы), затем выбранные пожизненно (ирландские пэры) и выбранные на срок (шотландские пэры).

Гент Джемс-Генри-Ли (1748–1859). Английский поэт и публицист. Вместе с братом Джоном Гентом основал журнал

«Икзсминер». Сидел в тюрьме за выпады против принца-регента: Выпустил книгу воспоминаний о Байроне и его современниках.

Кестльри, лорд. Министр иностранных дел, представитель Англии на Венском конгрессе, организатор и руководитель реакционной политики Англии на континенте. Потеряв жену, покончил самоубийствам, перерезав себе горло. Байрон по этому поводу написал:

Итак он умер! Кто? О ком шумит молва?
Да тот, кто умертвил свою страну сперва.

Клингер Фридрих-Максимилиан (1752–1831). Немецкий писатель-драматург. Один из крупнейших представителей эпохи «бури и натиска» в литературе. В ряде своих произведений («Отто», «Страдающая женщина», «Близнецы», «Буря и натиск», «Новая Аррия», «Золотой петух», «Фауст, его Жизнь, деяния и низвержение в ад» и т. д.) он, в качестве представителя передовых групп революционизирующегося мелкого бюргерства, выступает как сокрушитель литературных традиций, как враг старого порядка в общественной и политической жизни. За бурный темперамент был прозван литературными врагами «взбесившимся Шекспиром».

Коббет Вильям. Английский публицист и политический деятель (1762–1835). Сын мелкого фермера. Один из приверженцев мелкобуржуазного демократического движения. Бурный митинговый оратор, нередко бывавший в тюрьмах: два года тюрьмы за речь против телесных наказаний, и т. д.

Лессинг Готфрид-Эфраим (1729–1781). Немецкий писатель, драмматург, литературный критик. В лице Лессинга наиболее передовая группа промышленной буржуазии — бюргерство — впервые вступила в конфликт со старым порядком. Враг бесплодной созерцательности в науке и искусстве, трибун, Леесинг до конца жизни оставался борцом с юнкерским деспотизмом, С 50-х годов он становится создателем немецкой буржуазной драмы. В 1755 году появляется написанная прозой трагедия «Мисс Сарра Сампсон», где автор сюжетом трагедии впервые избирает жизнь простых бюргеров, в противовес «высокой трагедии», прочно утвердившейся на сцене. Основные взгляды на театр изложены им в «Гамбургской драматургии», где в частности та трагедию возлагается миссия «приводить в трепет венчанных убийц», разоблачать тех, «кого закон не карает и не

может карать». Его драма «Эмилия Галотти» — протест против феодализма и самодержавия; «Анти-Геце» — вызов церкви и ортодоксии; «Натан Мудрый» — пылкая защита свободы совести. Философская драма «Фауст» дошла до нас лишь в отрывках. Большую роль в искусствоведении сыграл его трактат о живописи — «Лаокон».

Медея. Могущественная волшебница, героиня древнегреческого мифа. Дочь царя Колхиды (в Закавказье). Помогала мужу своему Язону добыть «золотое руно», затем бежала с ним в Грецию, где своим волшебством возвратила молодость отцу Язона. Когда Язон собрался жениться вторично, она послала его невесте отравленное платье, и та погибла. По преданию, в припадке ярости Медея убила двух своих детей от Язона. Образ Медеи встречается не только в античной литературе: он отражен у французов (Корнель), у немцев (Клингер, Грильпарцер). В конце XIX и начале XX веков он возрождается в поэзии русских символистов (Валерий Брюсов).

Пан Твардовский. Герой польской народной легенды XV века. Пан Твардовский, стремясь к познанию сверх'естественного, продал свою душу дьяволу и после ряда всевозможных приключений в назначенный срок должен был быть уведен дьяволом, но спасся, запев духовную песнь. Но все же он осужден витать между небом и землей до страшного суда. Легенда о пане Твардовском является польской версией легенды о Фаусте. Тема эта не раз вдохновляла польских поэтов.

Пауперизм (от латинского слова «pauper» — «бедный», «нищий»). Наличие в обществе значительного слоя населения, лишенного средств к существованию и живущего за счет благотворительности. Пауперизм известен с давних времен: он существовал в век возникновения христианства в древнем Риме, в средневековой Европе и, наконец, в крепостной России, где низкий уровень производительных сил вызывал обнищание огромных масс и превращал мелких производителей в пауперов. Развитие промышленного капитализма сопровождается огромным ростом пауперизма. В Англии в XIX веке пауперизм достиг грандиозных размеров, охватив чуть ли не 1/5 населения. Развитие капитализма и в других странах сопровождалось нарастанием пауперизма.

Персиваль, Лодердель, Грей, Гренвиль. Министры Англии в первую четверть XIX века.

Роджерс (1763–1855). Английский поэт. Один из друзей Байрона. Представитель старой английской школы.

«Савва Грудцын». Повесть XVII века, возникшая на основании апокрифической легенды о власти демона над людьми. Сюжет повести, известной в разных редакциях, составляет судьба юноши Саввы, попавшего во власть беса, явившегося ему под видом друга и брата. По неопытности, будучи едва грамотным, Савва подписал бумагу («богоотметное писание»), где запродал свою душу дьяволу, который служит ему, исполняет разные его желания и между прочим сопровождает его на войну (при осаде Смоленска в царствование Михаила Федоровича) и даже показывает ему царство сатаны. После многих приключений Савва избавляется от дьявольского наваждения и уходит в монастырь.

Цинциннат Люций Квинций (V век до н. э.). Римский патриций, консул, был два раза диктатором. Во время народных восстаний в Риме, вызванных голодом, выступил защитником интересов патрициев-землевладельцев. Будучи богатым землевладельцем, вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю, почему и считался образцом для граждан древнейшего Рима.

Шеппард Самуэль. Главный нотариус государства, «коронный стряпчий».

Эльдон и Райдер. Английские лорды, члены верхней палаты, авторы законопроекта о казни ткачей, обвиняемых в разрушении машин.

БИБЛИОГРАФИЯ

РУССКАЯ

Байрон в переводе русских писателей под редакцией С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз и Ефрон. Томы I–III. Спб. (Самое полное из русских изданий).

Байрон. Сатира и лирика. Под редакцией М. Н. Розанова. Русские и мировые классики. Под редакцией А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова. ГИЗ, 1927.

Байрон. Избранные произведения в одном томе под редакцией М. Н. Розанова. Гослитиздат. М., 1935 (Издание, изобилующее дефектами перевода и комментария).

А. Н. Веселовский. Байрон. М., 1903.

В. Д. Спасович. Байрон и некоторые его предшественники. Спб., 1885.

В. М. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Ленинград, 1924.

М. Н. Розанов. Очерк истории английской литературы. М., 1922.

П. С. Коган. Очерки по истории западно-европейской литературы. Т. I.

А. В. Луначарский. История западно-европейской литературы. Часть II, ГИЗ. М., 1924.

В. М. Фриче. Очерк развития западно-европейской литературы (в ее важнейших моментах). М., 1922.

В русском переводе есть:

Георг Брандес. Главные течения европейской литературы XIX века. Англия.

Эпоха Байрона (в Англии).

Г. Быков. Очерки по истории социальных движений в Англии (1764–1836). Соцэкгиз. 1934.

Фридрих Энгельс. Положение рабочего класса в Англии (Собр. соч.).

ИНОСТРАННАЯ

The poetical Works of *Lord Byron*, London, John Murray, 1873. Лучшее однотомное издание.

Byron's life. Letters and Journals in one volume with notices of his life by *Thomas Moore*. London. John Murray, 1873. Одно из самых хороших собраний писем, дневников и документов Байрона.

The life of Lord Byron. By *John Gall*. Paris, 1835.

De Lescur. Lord Byron. Histoire d'un Homme (1788–1824). Paris, 1866.

Nickol. Lord Byron. London, 1913.

Byron, The Poet. Edited by Walter & Briscoe. London, 1924.

Byron in England, his fame and after-fame. By *Samuel C. Chew*. London, 1924.

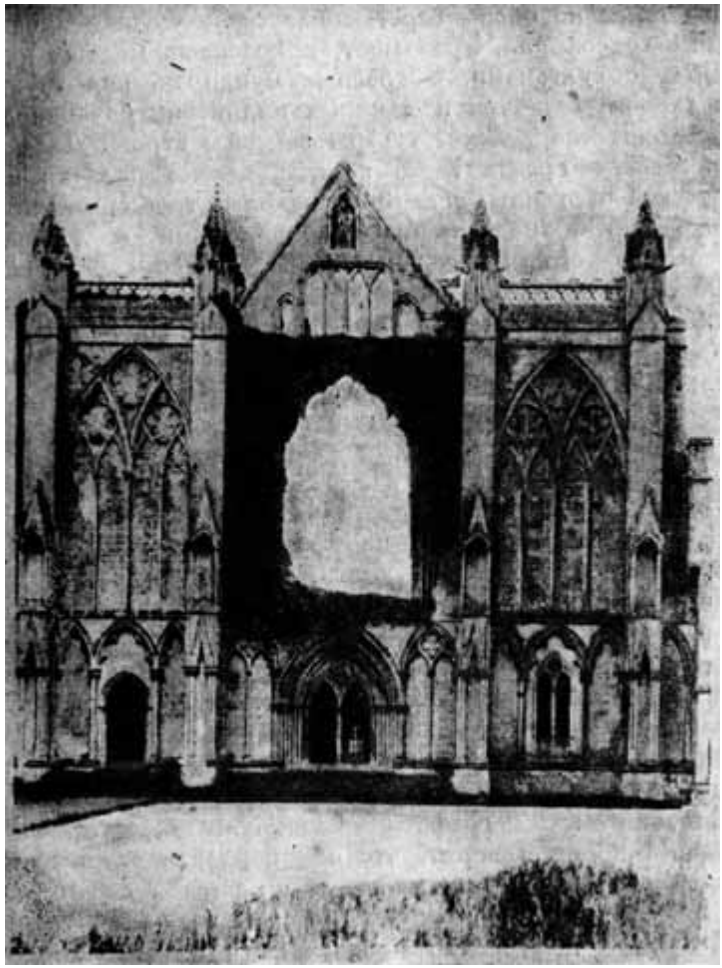
Иллюстрации

Мать Байрона.

Байрон в детстве.

Байрон в ранней юности.

Байрон в Кембридже. *Эскиз Гилькрайста.*



Ньюстедское аббатство.

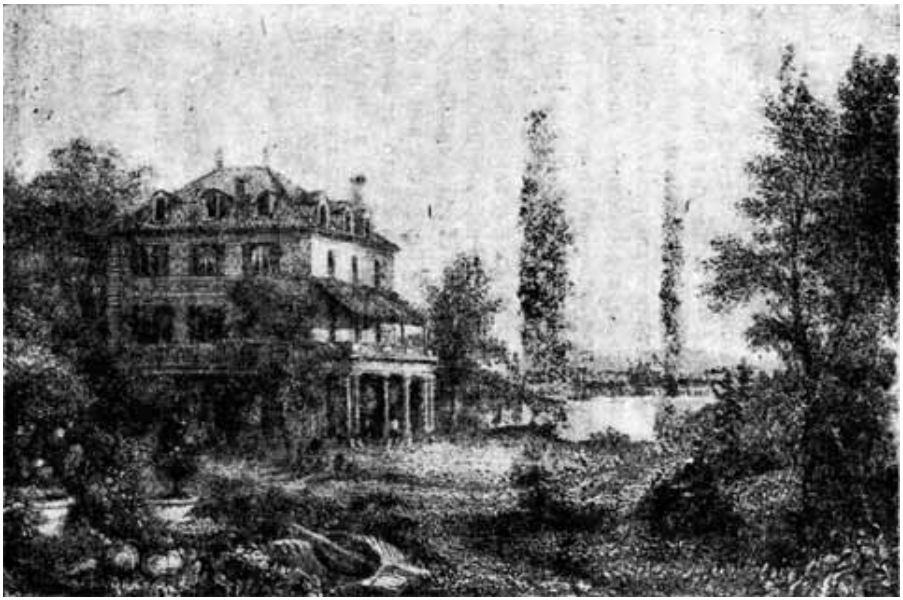
Байрон.

Каролина Лемм.

Анна Изабелла Мильбенк.

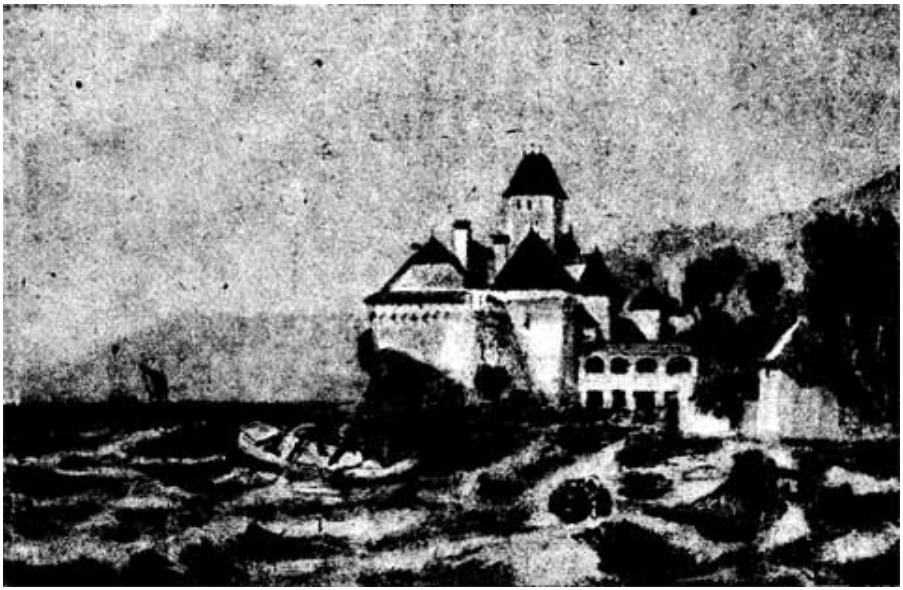
Мери Чаворт.

П. Б. Шелли.



Вилла Диодати на Женевском озере.

Одна из карикатур на Байрона.



Шильонский замок.

Сводная сестра Байрона Августа Ли.

Байрон в Италии. *Рис. Гарло.*

Рабочий квартал в Лондоне.

Дочь Байрона, графиня Ада Ловлес.

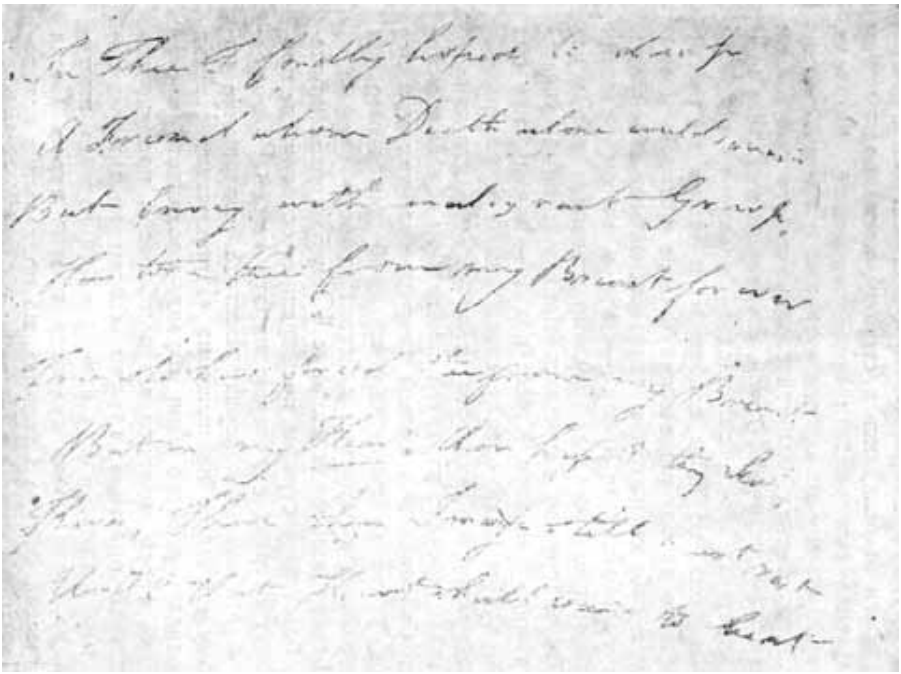
Байрон. *С миниатюры, принадлежащей графине Гвиччиоли.*

Тереза Гвиччиоли. *С миниатюры Вуд, гравюра Дин.*

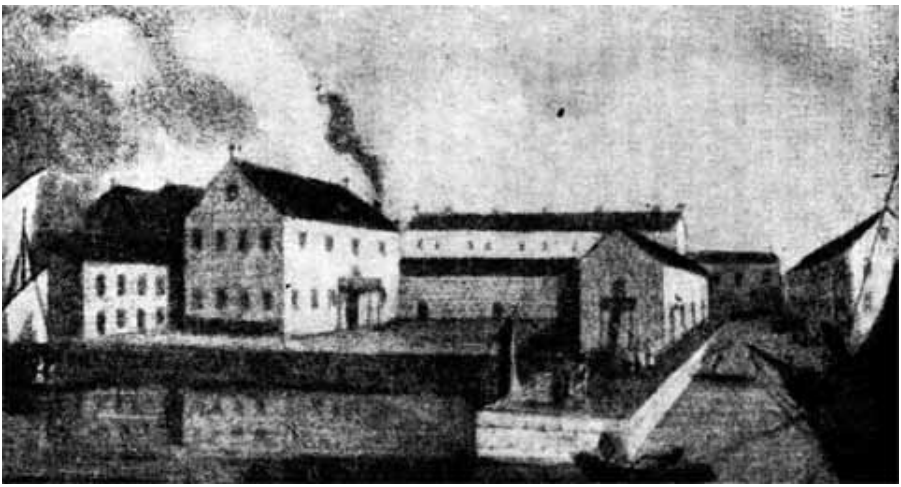
Друг Байрона Томас Мур.

Прием в карбонарии.

Карбонарий в торжественном одеянии.



Автограф Байрона из «Дон Жуана».



Дом Байрона в Мессалунгах.